

Нина ЗИМИНА

**На берегу
Белой**

Нина Зими́на



НИНА ЗИМИНА

A handwritten signature in cursive script, written in dark ink on a light-colored background. The signature is stylized and appears to read 'Нина Зими́на'.

На берегу Белой

НИНА ЗИМИНА

НА БЕРЕГУ

БЕЛОЙ

Стихи и рассказы

БЕЛОРЕЦК

2006

Нина Зими́на

*Нина Николаевна Зими́на –
русская поэтесса и прозаик
(1942 – 2014).*

*Автор более двух десятков книг.
Жила в городе Белорецке (Башкирия),
преподавала русский язык и литературу
в вечерней школе. Выйдя на пенсию, полностью
посвятила себя
литературному творчеству,
была членом Союза писателей Башкирии.
Творчество поэтессы никогда не замыкалось в
рамках провинциальных границ, хотя при жизни
она не имела всероссийской известности.
Потомкам еще предстоит оценить глубину ее
таланта.
Настоящее признание поэтического наследия
Нины Зиминой — впереди...*



**Здесь собраны избранные
стихи и рассказы –
любовная, гражданская и духовная лирика,
размышления, очерки, эссе...
Книга будет интересна тем, кто ценит высокое
художественное слово.**

*Игорь Калугин
(редактор электронного варианта сборника).*

1.

**БЕЛОРЕЦК –
НЕБРОСКИЙ САМОЦВЕТ**

Белоречье – край старинный,
Горы, реки и луга.
Небылицы и былины
Держит времени рука,
Выпускает в поднебесье,
Словно белых голубей,
И живут-бытуют песни
В милой стороне моей.
Солнце красное восходит,
В окна свет льет золотой.
Крепкий дух в моем народе
И характер боевой.
Дух ковался, как в горниле
Жесткой жизни и борьбы,
Но слагались сказки-были
О счастливых днях судьбы.
Здесь от отчего порога
Улетали времена.
Здесь широкою дорогой
Ходят осень и весна.

Взгляни окрестно с птичьего полета:
Мой Белорецк, мой тихий городок
Лежит в горах, как в чаше, что сработал
Данила-мастер, красоты знаток.
Края у чаши – россыпь малахита
С раздольными овалами низин,
Что речкой Белой, будто ниткой, сшиты
В единое из разных половин.

Во времена Великого Петра
И по его светлейшему указу
Рабочий люд сюда и мастера
Пришли –
И речка оживилась сразу:
Рубили избы,
В утреннюю рань
Катилось эхо бойко за проселок.
С трудом, но расступалась глухомань,
Когда рождался заводской поселок
На берегу встревоженной реки.
Уже дышала домна там, в низине,
И на скрипучих тачках мужики
Руду для печки-прорвы подвозили.
Среди угрюмых этих мужиков,
Я знаю, был и мой далекий предок.
Теперь меж нами больше двух веков,
В себя вобравших радости и беды.

Струится речка, извиваясь резво,
Скрывая в волнах тайну слова «клад»,
С тех пор, как здесь, в горах, из руд железных
Сварили сталь, чтоб выковать булат.
Стальной булат на рынки мировые,
Возил купец, не думая о том,
Что самый ценный клад – мастеровые,
Прославившие Белорецк трудом.

Восемнадцатый век... На июньской заре
Начинался завод и наращивал силу.
Знает он поименно мятежных времен бунтарей,
Славит тех, кто себя не жалел для России.

На особом счету был тревожный 17-й год.
Новый день утверждал трудовые законы.
В лихолетье войны на победу работал завод,
У станков был и фронт и черта обороны.

Соболиная сталь шла ценнее самих соболей,
И в космическом деле шли наши канаты.
В Новый век – время новых проблем и великих идей
Пусть заветы отцов будут вечны и святы.



НА БЕРЕГУ БЕЛОЙ

(Взгляд в прошлое)

Однажды, в очень древние от нас времена, задолго до новой эры, земля раскрыла свои ладони и выпустила на волю звонкоголосый ручеек. И он заструился между густых трав, убегая от подножья высокой горы, которую люди потом нарекут Иремелью, заторопился дальше, выискивая себе дорожку по низинкам, набирая силу от дождей, принимая в попугчики веселых сестричек, становился полноводным.

Могучие лоси приходили к ручью на водопой, бурые медведи купали в нем медвежат и приноравливались в нем ловить рыбу, малое зверье выискивало безопасные тропки к его чистой серебристой воде.

Птицы тоже полюбили кружиться здесь: одни для того, чтобы отразиться в зеркале переливающейся воды, другие, как, например, ястреб, кинуться камнем, закогтить зайца и унести его в свое гнездо на прокорм птенцам.

Многое повидал ручей на своем веку, разрастаясь в реку – живописное чудо природы. О, если б она умела разговаривать, то поведала бы нам историю о том, как начиная с IV века новой эры, приманивала к себе кочевые племена башкир. Жить в лесном краю по берегам реки не намного легче, зато сытнее. Нужда учила охотиться на лесного зверя, добывать птиц, ловить рыбу.

С середины XIII века кончилась вольная жизнь башкир, не сумели они оказать сопротивление татаро-монгольским воинам. Река слышала свист монгольских нагаек, закрывала светлые очи, растворяя в своих водах кровь жертв, видела, как подчиняли себе завоеватели и умыкали башкирских красавиц в гаремы ханов.

Освобождение пришло лишь в 1552 году, когда русское войско взяло Казань, положило конец татаро-монгольскому владычеству, башкиры пришли к царю Ивану Грозному с челобитной принять их в подданство. С тех пор река Белая, приютившая когда-то башкирские племена, считается и русской рекой, несущей свои воды к Каме и Волге.

Впервые русскую речь Белая услышала в начале шестидесятых годов XVIII века, когда купец Иван Борисович Твердышев, появился на ее берегах со своими людьми. Не красотами своих берегов прельстила она этого русобородого с умным дальновидным взглядом человека. Не богатство ягод и грибов в лесах приманило сюда целую компанию, а клады железной руды, сланцев и доломитного камня.

В газете «Ведомости» сразу же было сообщено, что старатели во главе с И. Б. Твердышевым «чают немалую прибыль Московскому государству», когда в долине Белой, в

ста километрах от истока, будет возведен железоделательный завод.

На Урале уже действовали девять железоделательных заводов и давали немалую прибыль как самому государству, так и хозяевам во главе с Твердышевым и Мясниковым. Но тот, кто попробовал жить на широкую ногу, силится шагнуть еще шире. Недолгим был торг купца Твердышева с хозяевами Бельских земель, бывшими степными кочевниками, осевшими здесь. История этого торга превратилась в легенду о хитром купце, сумевшем одурачить доверчивого башкира и скупить у него 100 десятин земли почти за бесценок. А может, башкиры, сохранившие в себе чувство степной вольности, мало дорожили лесными угодьями и посчитали для себя выгодно иметь под боком русского соседа, затеявшего большое дело. Смекнули, что не надо будет скакать к чертям на кулички, чтобы выгодно продать коней или сменять на товары, необходимые в быту, обзавестись тем, что было на столах русского народа, да и в железе они тоже нуждались. Каждый в этом торге тянул свою выгоду и получил ее.

Иван Борисович Твердышев был неутомимым тружеником, и не только о своей мощне, но и о пользе Отечества думал он, отмахав на коне тысячи верст до диких мест Белой, чтобы определить расположение будущего завода. Не одни кожаные сапоги износил, выхаживая по берегу Белой, планируя со специалистами строительство плотины, вымеряя площадь для будущего завода, место под избы, в которых будут жить будущие работники.

На утренней июньской заре 1762 года благочинный батюшка освятил место будущего заводского поселка, прочитал молитвы во славу и здравие русского отчества, императрицы Екатерины и ее подданных, коими были купцы Твердышев и Мясников, затеявшие строительство, и крепостные люди, которых купцы, согласно царскому указу, покупали целыми деревнями в центральных губерниях и переселяли в места будущего завода.

Обиталищем плача назвал деревни крепостных крестьян Николай Иванович Новиков, русский просветитель XVIII века. Печально и горько рассказывал он на страницах своего журнала о быте бедных крестьян, «которые богатство и величество целого государства составлять должны. Вот деревня – дворов около двадцати, стесненных один подле другого, огорожены иссохшими плетнями и покрыты от одного конца до другого сплошь соломою. Нищета доведена до крайности».

Вот из таких лачуг, погрузив на телеги кое-какой скарб, подневольные в лаптях и грубой посконной одежке вынуждены были отправиться в чужие места из-под плети крепостника-помещика под плеть управляющего заводом.

Не одни лапти истер по бездорожью мой далекий предок, пока добрался до нового места, сбросил с плеч обветшавшую в дороге одежку и искупался в белоструйной реке, смывая усталость.

Может, в этот раз, выходя из воды и отряхивая с русого чуба брызги, он заприметил на берегу девушку с косой до пояса. И она прильнула взглядом к нему – крепкому, красивому парню. А может, в другом каком-то месте они нечаянно встретились и полюбились друг другу, может, когда он, косая сажень в плечах, играючи топором, валил сосну за сосной для будущей избы, а она тоже тут была – ветки относил в сторону или готовила на костре варево для работников. Так или иначе, но любовь сильнее усталости и невзгод, с ней и ночью светло, и в холод тепло, и в чужом краю жить приветливее.

За короткое лето до первого снега на правом берегу Белой было построено 300 изб, возведена плотина, образующая пруд. Речка Белая тоже превратилась в неутомимую труженицу, ее воды на протяжении многих лет приводили в движение многопудовые молоты в горнах.

За плотиной была сооружена из красного кирпича доменная печь – четырехугольное, дышащее огнем чудовище, пожирающее руду и изрыгающее расплавленный чугун. Пять

лет понадобилось для отлаживания доменной печи. 9 декабря 1767 года был изготовлен первый чугун. Это был праздник. У заводских ворот на площади установили бочку с водкой, каждому рабочему полагалась чарка и кусок мясного пирога. Пей, ешь – и помалкивай.

От зари до зари мой предок тратил свои молодые силы на эту огнедышащую прорву. Кем он был? Может углежогом, а может, добывал руду. И уголь, и руду печь жрала без передыху, а может, он освоил кузнечное дело и был мастеровым.

И на этом, и на другом месте, кем бы он ни был, хоть семи пядей во лбу, он оставался подневольным человеком, рабом, низко кланяющимся перед хозяином в знак благодарности за возможность жить на свете.

... Осень отбирала у светлого дня час за часом, дышала холодом под шелестом листопада и торопила темноту на радость заводчанам: с наступлением сумерек заканчивался рабочий день, в летнее время он длился 14 часов.

А тут и время свадеб приспело, когда «пошли плотнички без топоров, срубили избы без углов, то бишь убрали хлеб с полей, сено для скота сметали в стога». Заводские рабочие вынуждены были еще и крестьянствовать – пахать землю, выращивать хлеб, картошку, репу, коровушку держать. Стар да мал работали на подворье, бабы вели хозяйство, пекли хлеба, парили репу, в щи порой годилась и крапива, когда капуста квашеная кончалась, а новую еще не срубили.

Когда светлые очи Белой подернула ледяная корочка, мой предок, звали его Иваном, испросил у родителей соизволения жениться. Рады-радешеньки были старики (тогда и сорокалетние считались стариками: рано гнула их к земле работушка) занять в доме помощницу, благословили сына. И после Покрова, по первопутку, повел Иван Дуняшку – ту самую длиннокосую девушку – под венец.

А через год батюшка в этой же церквушке окунул в купель с освященной бельской водой их первенца и нарек его Матвеем.

А поэмка уже начинала мести, завивалась в вихри народного недовольства: хотелось послабления, слишком уж тяжел был труд подневольного человека и бесправна жизнь. И на зимнего Николу, и на летнего не затихало недовольство царской крепостью, дающей неограниченную власть дворянину, для которого крестьянин или рабочий были всего лишь имуществом.

На Белорецком заводе домна от зари до зари заставляла людей работать на себя. К началу 70-х годов XVIII века в ней выплавлялось 120 тысяч пудов чугуна. Под молотами чугуна переделывался в полосовое и сортовое железо.

Если учесть, что в цехах завода было занято полторы сотни человек, то нетрудно представить, сколь тяжелы были эти пуды для каждого рабочего. По 14-15 часов летом «жарились», парились, сгорали они у домны, в литейке и кузнице. Каторга настоящая. А кому пожалуешься? Некому. Солнышко высоко, царь далеко, управляющий жалобщиков до своего высокого крыльца близь не подпускал, у мастера на недовольство скорый способ ответа – зуботычина.

И только Белая-река вбирала в себя тихий ропот, наполнилась водами, билась в столбы-опоры, угрожая снести плотину. Угнетенная человеком, река сочувствовала человеку, но не тому, кто по-хозяйски распоряжался ее мощью. Не один раз уносила она на утлых лодчонках беглецов с заводской каторги, укрывала их в прибрежных зарослях. Чаще всего беглецов настигали конные стражники, скручивали руки концом длинной веревки, другой конец прикрепляли к седлу лошади с верховым. Бедолага бежал за лошадью, падал и волочился по бездорожью, стражники поднимали и заставляли бежать. Они выполняли приказ доставить его живым, способным к работе: купленный у крепостников, приписанный к заводу, он был собственностью владельцев, рабочей силой. Железо, которое тут делали, отличалось особой стойкостью, а человек «ломался», и его «выпрямляли» плетьюми.

Экзекуцию устраивали принародно, чтобы другим неповадно было. Неподалеку от заводских ворот, глядящих на пруд, был «биток», так прозвали площадь, на которой по праздникам народу битком было, когда выкатывали бочку с водкой – угощенье: пей, работяже, заливай свои обиды, дивись щедрости над тобой стоящих. Баб заставляли водить хороводы. Ребяшня кружком поодаль – в гляделки играла.

Иван с Дуняшей – тоже среди всех. Матвей уже за сарафан мамани не цеплялся, самостоятелен и серьезен, как тятя. Иван на угощение не зарился, себя соблюдал в чистоте и опрятности. У мастера был на хорошем счету, но не поэтому. Работник он был с головой. Стоял к тому времени на плавке. Ему первому пришлось в голову новшество: магнитную руду с железной смешивать, чтобы железо отменное получить, звонкое и ковкое. Мысль такая пришла к Ивану, а слава досталась мастеру. Обидно, да ладно. За умную голову и щадил его мастер, считался с ним, для себя имея выгоду.

На этом же битке наказывали беглецов: привязывали к столбу, самих же рабочих заставляли «угощать» плетью и без того полуживого беглеца. Добрые из бьющих легонько действовали, а злыдни-угодники так «прикладывали», что кровь сочилась. И заступаться нельзя – сам получишь то же самое. Избитого беглеца уносили к реке, клали на мостки, с молитвой омывали истерзанное тело. Белая подкатывала тихие волночки, помогала бедняге очухаться. А ему хотелось умереть, из ада земного шагнуть в ад небесный, полагая, что черти добрее людей. Случалось, наказуемый не выдерживал, умирал на столбе.

Его отпевали в церкви. Батюшка просил Господа упокоить душу грешного раба, простить ему все земные прегрешения. Молящиеся крестились перед распятием Иисуса Христа и завидовали усопшему: страдалец на земле наследует рай. Смирение брало верх. Бог терпел и нам велел. Заводское кладбище на отшибе поселка пополнялось новопривывшими, а

завод продолжал дышать огненным дымом и поглощал не только руду, но и человеческие жизни.

С того первого дня, когда появился здесь Твердышев, уже десять лет подряд выкатывалось солнце из-за Уральского хребта, натыкалось на бревенчатую крепостную стену вокруг завода и поселка, переваливалось через нее, заглядывало в дома переселенцев, обласкивало детишек и удивлялось, как хозяйкам удавалось скрывать бедность, в чистоте и приятности содержать дом. В красном углу каждой избы – икона, струганный стол, вокруг него прибитые к стене лавки, в левом углу от двери – кровать под дерюжкой, над кроватью – полати с подстилкой из овчины. Во дворе, в конюшенном пристрое – корова, овечки, а за пристроем – огород. Его вспахивал хозяин. А хозяйкино дело – посадить овощи, вырастить и убрать. Хоть и трудно со всем этим управляться, зато жить не голодно. Контора часто задерживала заработанные мужьями копейки, уменьшало их количество всевозможными штрафами чуть ли не до нуля. Хоть плачь, хоть кулаками маши – толку никакого, в лавке приходилось в долг брать необходимое для жизни.

Октябрьское небо 1773 года серой, непромытой овчиной нависло над домами, над опустевшими огородами. Домны пытели, выпускали густой огнистый дым в небо. Чугун, получаемый тут, был непревзойденного качества и еще потому, что немало пота и человеческих сил впитал в себя. Государыня была довольна. И все чаще «Московские ведомости» вешали о том, как велик был прирост российского богатства, благодаря старательству купцов Твердышева и Мясникова. А о том, что главные старатели владели жалкое существование, нужду, – ни слова.

Зима уже наступала на пятки этим старателям, износившим догла одежонку у палящих печей, истоптавшим до дыр лапти на деревянной основе. Рудокопы и возчики руды от горы Магнитной в студеную пору испытывали особую нужду в теплой одежде, ведь тулупчики не каждому по карману. Хотя

что и говорить о кармане? В нем только блоха на аркане, чтобы не ускакала от голода.

К концу октября, когда Белая уже подернулась ледком, случилось то, что в дальнейшем перевернет жизнь рабочих и всего поселка.

У конторы, где начислялись, но редко выдавались копейки, столпились работаеже, ожидая расчета. В толпе появился рослый мужик с окладистой, цвета спелой ржи бородой, сдернул малахай с головы своей, хряснул им оземь и резанул по сердцу каждого стоящего здесь словами: чего, мол, ждете покорно милости, вам тут ничего не приготовили. Они знали это не хуже его. Но что делать? Только смиренно ждать, хотя и клокотала в груди обида, перерастала в гнев. А мужик этот знал что делать. Надо идти на поклон к царю-батюшке, к объявившемуся Петру III. Он обещал волю, но надо ее отвоевать, и тогда крестьяне сами себя освободят от помещиков, от заводчиков. Каждый получит землю в собственность. Царь-батюшка Петр III отменит все повинности.

Этого было достаточно, чтобы гнев рабочих, копившийся не один год, возымел действительную силу. Подогретые словами пришельца, работники подожгли контору, вместе с ней сгорели и долговые расписки. Управляющий сумел вырваться и ускакать в Верхнеуральскую крепость. Вернулся он с отрядом царских войск. С пришлым бородачом в этот раз ушли к царю-батюшке около сотни мужиков-заводчан, замахнувшихся на хозяев завода. Бородач войдет в историю Пугачевского бунта под именем Павел Матвеев – рабочий Авзяно-Петровского завода.

Бунтари, удвоив силы, вернутся к стенам заводского поселка в морозном январе. С этого времени завод станет работать на армию казака Пугачева – доброго царя, поднявшего топор на крепостника. После поражения под Оренбургом Пугачеву нужны были пушки, новые силы. Для этого он и осел на Белорецком заводе.

Бабы охали, ахали, плакали, сердцем чувствовали, что эти перемены добром не кончатся: уйдут мужья с войском чернявого царя – разрушатся семьи, пропадет кормилец, хозяйство захиреет, одной бабе не справиться с огородом, землю весной надо вспахать, сено летом заготовить, чтобы было чем коровушку кормить, не то детушки с голодухи будут пухнуть.

Чернявый царь навел страху на всех. Мастера доменного дела, которые заартачились и воспротивились исполнять его волю, были казнены на том самом битке, у того самого столба-позорища, где наказывались до того провинившиеся работяже.

Управлять процессом варки чугуна и переделкой его в железо стали сами рабочие, которые к этому способность имели.

Иван был назначен распорядителем всех работ на литейном дворе. Дуняша, когда прослышала об этом, с иконой в руках пала на колени перед мужем, со слезными причетами просила пожалеть ее и Матвеюшку, пойти к чернявому царю с отказной. Но не того характера был Иван, чтобы от жениных причетов сердце размягчилось. Жалость – жалостью, а честь – честью, к тому же и вера в обещанную царем вольную жизнь укрепляла дух и стойкость.

Апрель 1774 года отличился непостоянством: то солнце во все небо – и радостно всем – люди бойчее переговариваются и перебраниваются, лошади и те веселее ржут и тянутся к друг другу, жеребчики подыскивают подружек. То вдруг небо заволочется серым, опустится, навалится брюхом на колья заводской крепости – людям становится тошно, охватывает страх перед завтрашним днем.

С гулким треском льда по просыпающейся реке Белой доносились слухи о том, что екатерининские войска уже стянули силы на Урале и вот-вот окажутся в Белорецком заводе.

А когда речка освободилась ото льда и загрохотала, заклокотала у плотины, стараясь снести преграду на своем пути, войско чернявого царя оставило Белорецкий завод. Под жарким майским солнышком завязалась битва бунтарских войск с

екатерининским войском у горы Магнитной. Особо отличилась здесь конница в триста сабель, командовал ею бывший рабочий Белорецкого завода Василий Акаев, которому Пугачев пожаловал чин хорунжего. Верх на этот раз одержан Акаев: крепость Магнитная оказалась в руках повстанцев.

Белорецкий завод продолжал работать на повстанцев. Сваренный чугун шел на отливку пушек. В кузницах пылал огонь, раздувались меха, звенели молоты – из железа ковались сабли. Иван и дневал, и ночевал на заводе: надо было к сроку помочь оружием заступнику народа, Петру III, по пятам которого шли карательные войска. Авзяно-Петровский завод уже пал под их натиском, зачинщиков бунта изловили, со дня на день, с часу на час каратели подступят к Белорецкому заводу. Мужики спешно готовились вывозить своих жен с ребятей, Обозы со скарбом, а за ними пешие бабы с детками потянулись к Магнитной крепости.

Дуняша наотрез отказалась срываться с насиженного места, оставлять намоленный теплый угол, где Матвеюшка, их кровиночка, появился на свет, где думы сладкие и думы горькие свивались в одно – в любовь к Ванюше, на чьей рученьке она засыпала в жаркие ночи и на чье плечо крепко опиралась в трудные дни.

– Не пойду никуда и тебя не пущу, чую сердцем погибель на чужой стороне... Не пущу! – падала на колени перед мужем, обнимала его ноги, молила о сыне подумать.

Иван и в уговоры пускался, и вожжами припугнуть пытался – ничего не действовало, жена стояла на своем. И только когда узнала, что отступавшие красного петуха пустят по всему заводу, испугалась: а как же коровушка, а как же овечки – обезумят от страха, да и Матвеюшка как бы в какую беду не попал. Испугалась, но от своего не отступилась. Обвила рога коровы-кормилицы веревкой, связала в один узел необходимые для смены рубахи, в другой – запасы разных круп, муки, перекрестила избу, двор и приказала Ивану отвести их за две

горы, в курень Галимы-апай. Братья ее были углежогами, а муж Мустафа служил возчиком руды на завод от горы Магнитной, дружбу водил с Иваном. Галима не раз приезжала в заводскую лавку товару на платье взять, останавливалась на ночевку у Дуняши. Одна не знала русского, другая – башкирского, а понимать друг дружку понимали. У Галимы трое малаев (мальчиков) росли один за другим, старшему, как и Матвею, шел тринадцатый год. Дуняша ни на ноготок мизинца не сомневалась в том, что Галима примет их, да и Матвея малаята не оттолкнут, примут. Матвей в свои годы уже многое умел из того, что должен уметь взрослый мужчина: пахал землю наравне с отцом, плугом управлял, ловко орудовал топором, расхряпывая чурбаки на поленья, чисто лопатой и вилами выгребал навоз из конюшни, умел косить и на стогу стоять, когда отец снизу сено навильниками подавал, а он укладывал и топтал, чтоб крепким стог получился. Вот только стрелять толком не научился из ружья. Отец брал его на охоту, но особо не нажимал на учении стрелять в живую мишень. «Придет нужда – сам научится», – говорил он Дуняше. И вот оно, жестокое время выбора, по какой дороге мальцу дальше идти. Отец готов был семью в крепость Магнитную переправить, а мать, не веря новому чернявому царю, отвоевала возможность схорониться в дальнем курене у Галимы.

Иван вывел свою семью из дома, когда чуть рассвело. Вскоре они взобрались на вершину первого хребта, с которого можно было прощальным взглядом окинуть завод. Первое, что они увидели – река Белая. Дуняша ахнула: вода в ней будто в кровавых потеках, а сам завод потонул в клубах дыма. Сквозь него, разрастаясь, кучерявился огонь. Дуняша заплакала и, призывая Матушку Владычицу Пресвятую Богородицу защитить святым Покровом их жилище, стала креститься.

В него, целое и невредимое, они вернутся к зиме, но без радости. Иван сгинет без вести на какой-то бунтарской дороге, и Дуня до конца жизни будет жалеть, что отпустила его тогда,

когда привела к Галиме на курень, не обхватила его руками, как замком, не заслонила собой обратную дорогу. А если бы не отпустила? Понимала: на завод ему путь заказан, хоть и умная у него голова, золотые руки, да ноги не в ту сторону пошли, наперекор матушке-царице Екатерине. Повесили бы каратели аль расстреляли за то, что Пугачу помогал пушки лить и ядра к ним.

Самовольно Дуняша не решилась бы вернуться на завод, боялась, что ответ за отца придется сыну держать, и кто его знает, как дело повернется: худого на свете больше, чем доброго. А при курене жить можно, коль не будешь сидеть сложа руки. Летом – косьба, без сена коровушки не выживут. Для лошадки овес на трех клочках земли выращивали. Ягоды в лесу собирали, сушили. В разную пору лета грибами запасались: маслята, а позднее опята на прутиках вялили, а белые солили.

За лето Матвей в росте мать догнал, работал за взрослого в артели братьев Галимы: двуручной пилой лес валил для «кабанов», так называли ямы, куда укладывались березовые стволы для выжига угля.

Научился и стрелять: без добычи из леса не возвращался, не только рябчиков на суп приносил, но и тетерева умел снять.

Дошли слухи, что завод после пожара стали «подымать» заново. Сгорели в основном деревянные постройки, а то, что из камня и железа, осталось почти невредимым. Новую партию крестьян пригнали из центральных губерний, обучали заводским работам, но рабочих рук не хватало.

Бывших рабочих-бунтовщиков, которые сдались на милость царским войскам, обрили, надели кандалы и вернули на завод, на самые тяжелые места поставили.

Дуняша ночами не спала, все думала, а вдруг и Иван среди возвращенцев там. А Иван, как в воду канул, ни слуху о нем, ни духу. Ни за что где-то сложил свою головушку. «Черт принес в завод этого чернявого Ирода», – негодовала Дуняша, кляла Пугачева и неистово молилась Богу за Ивана: «Ежели живой,

верни мне его, Господи! А ежели мертвый – упокой его грешную душеньку и прости его, заблудшего».

Когда первые предзимние заморозки отвердили землю, когда отгоревшая, пожухлая от дождей и ветра листва укрыла грязно-мерзлые лужи, когда медведи, объевшись малиной, готовились залечь в берлоги, а башкиры готовили свои коши к зиме, как берлоги, в курень прискакали верховые проверить работу углежогов и забрать лишние руки в завод на строительные работы. Приказчику были поручены работы на строительстве лесопильни, которую к осени почти восстановили, теперь нужны были листовенные бревна, сосновые шмели для распиловки. На курене он наблюдал работы на «кабана». Понравилась расторопность Матвея и то, как тот орудовал топором. Было решено Матвея забрать на лесопильню.

Приказчик был из тех мастеров, кто не пошел за Пугачевым и отступил в Верхнеуральскую крепость, теперь он вернулся и был поднят в должности до распорядителя строительными работами. Он заверил опасавшуюся Дуняшу, что сын за отца не ответчик, а ежели что – обещал заступиться за мальчика.

Вот так мать и сын вернулись в оставленный по весне дом, сохранившийся под покровом Заступницы Усердной. Матвею положили жалование – 7 копеек. Как и отец, он был широк в плечах, высок грудью, ноги пока шли в рост, а лицом уже не мальчик: за прошедшие весну и лето успел хватить лиха, да и за мать не по-детски переживал. Теперь, хоть и исполнял на лесопильне работы «куда пошлют и что заставят», он еще больше повзрослел, стал жестче взглядом и по-взрослому деловитым. По десять часов работать – любой повзрослеет. Заработок не велик, но и то радость для матери: кормилец как-никак. А то на одну коровушку была надежда, огороды из-за ирода-бунтовщика пустыми остались. Слава Богу – ягоды и грибы из куреня привезли, в долгую зиму пригодятся.

Вот так стал помощником в доме сын, во многом повторивший отца статью и хваткой, талантом в любом деле.

...Зима брала свое. Вскоре Белая успокоилась, затянулись ее голубые глазоньки сперва тонким льдом, а потом и вовсе закрылись. Уснула река до следующей весны. Сколько их будет счастливых и несчастливых весен в жизни Матвея – одному Богу известно.

С того самого года, как спалили завод бунтари, прошло семь лет. За это время не только отстраивали старое, разрушенное огнем, но и возводили новое.

Рядом с корпусом доменных печей с полной нагрузкой работал литейный двор – чугу́н разливали в чушки по пуду каждая. Тут же был и горн для обжига руды и дробильная. Два горна переделывали железный чугу́н в сталь. Во всю действовала вагранка для фасонной отливки посуды из чугуна – ковши, казаны, разного размера чугу́нки – все делалось на продажу. Это и многое кое-что другое из утвари, а также железо и чугу́н вывозились на ярмарку в центральные города и в самый стольный град на барках в пору весеннего половодья.

Воды Белой выносили барки к Каме – вольной и быстрой реке, а с Камы до Волги при попутном ветре – рукой подать. Так изделия Белорецкого завода, проделав более чем месячный путь, попадали на ярмарку в Нижний Новгород, а с ярмарки и за границу путь не заказан,

Матвей бредил желанием стать лоцманом, изведать дальние дороги, поглядеть на приволжские места, откуда родом были его родители, но, как говорится, желать не вредно, да кто его пошлет обучаться лоцманскому делу, кто даст добро сыну бывшего бунтаря.

К тому году, когда пришло известие о смерти главного владельца завода Ивана Борисовича Твердышева, Матвей выправился в широкоплечего парня с завидной внешностью: высокий крутой лоб под шапкой темных волос, брови вразлет, густые, упрямо сдвинутые к переносице, серые глаза будто промыты вешней бельской водой. Он уже слыл первым

работником на лесопильне, хоть куда его поставь – на обработку дерева, на распиловку – справлялся одинаково успешно.

А еще в заводе его знали как везучего охотника. Дичь, добытая Матвеем, шла на стол управляющему, приказчикам, а те за это по-особому относились к Матвею, уважали, в сезон охоты позволяли отлучаться от работы на лесопильне на несколько дней.

Дуняша радовалась за сына, но эти радости не могли ей вернуть того, что было при Иване. Много слез пролила она, ожидая его, и теперь еще горечь не ушла, состарилась Дуняша раньше времени: поступь ее утратила легкость, переживания пригнули голову, заставили опустить глаза долу, изрезали лоб скорбными морщинами, сгорбили раньше времени спину. Все домашние хлопоты, в том числе заботы о прокорме коровушки, огород, Дуняша взяла на себя и управлялась. Больше всего боялась она, что грезы сына стать лоцманом коим-то образом сбудутся, и тогда она потеряет его. В заводе ходили разные истории о гибели на коварных поворотах реки особо отчаянных проводников барок с грузом. Ни могилы, ни креста усопшему, так же, как и пропавшему без вести, только молитва об упокоении да слезы родичей. Хватит слез, которыми Дуня оплакала одну потерю.

Жизнь Матвея изменилась, когда в 1780 году владелицей завода стала Дарья Ивановна Пашкова, дочь умершего совладельца завода Мясникова. Для хозяйки готовили новый дом. Было выбрано место на крутом берегу Белой, откуда открывался вид на пруд и на взбегающий от завода гребень хребта в сосновом убранстве. Матвея сняли с лесопильни на строительство господского дома. И вот настал час, когда пальбой из пушек возвестили о приезде новой хозяйки на завод. Рабочим по этому поводу устроили выходной день. На площади, где раньше стоял позорный столб, сгоревший во время пожара, была устроена встреча хозяйки со своими подданными, которым в честь такого события было обещано угощение.

Дуня глядела на барыню в шелках, стройную, но крепкую телом и вспоминала свою молодость: если бы её одеть тогда в шелка, не хуже бы выглядела, так же пышны были волосы, убранные в косы, только у этой уложены короной, взгляд твердый не по-женски и в то же время завлекательный. Певучим, с чистыми нотами покровительницы голосом поприветствовала хозяйка собравшихся. Священник окропил первые ряды заводчан, вставших перед хозяевами на колени. Благословил и новых благодетелей, Дарью Ивановну с мужем – Пашковым Александром Ильичем. Он тоже сказал несколько слов приветствия, в мягких интонациях проскальзывала гроза: ежели, мол, кто против нас, пощады не ждите.

Гости-господа из Верхнеуральска, управляющие из ближних заводов с чувством собственного превосходства смотрели на рабочих.

Матвей стоял среди прислужников барыни, опустив голову. Он рад бы оказаться в толпе рабочих, да не волен был: накануне его представили Дарье Ивановне как одного из строителей её дома и как первого охотника на заводе. Именно второе качество Матвея привлекло внимание хозяина, тут же загоревшегося желанием пострелять в Уральских горах, в тех местах, где по весне токовали тетерева, выщелкивали свои брачные песни глухари.

Первый выезд на охоту пришёлся на время Успенья и был пышным до неприличия. Хозяин пригласил важных гостей – соседей из Верхнеуральска, Троицкого завода, даже из самой Уфы. Дамы в экипажах, господа верхом. На отдельной телеге везли вино-водку, разную снедь. Матвей верхом – впереди всей господской оравы. Ему поручили выбрать место, красивое для отдыха и богатое для охоты. Матвей привёл всех на берег говорливой небольшой речки, стремительно несущейся по каменистому руслу. Он не раз пил из горсти эту ломящую зубы воду, как-то по-особому действующую на голову, просветляя мысли, сообщая бодрость жилам. Об этом он между делом

рассказал Александру Ильичу (хозяину), пока устраивали место отдыха. Тот не заставил себя уговаривать, испробовал водичку, зачерпнув по-мужицки в горсть. «Да ты поэт, дружок», – сказал весело Матвею, совсем не по-барски, хотя и не без покровительственного высокомерия.

Дарья Ивановна, проникшись простотой лесного царства, поутратила свою степенность, бурно восторгалась красотами леса, умилялась вьющимися над цветами бабочками. Это состояние влюбленности в здешний мир подхлестнуло потом её желание расширить тут заводское дело. На другой год по ее приказу будет построена мельница, увеличится производство фасонно-литейного цеха, вдвое возрастёт выпуск чугуна и железа. Для этого потребуются рабочие, и уже к 1789 году из различных деревень Нижегородчины, принадлежавших ей, переселятся в Белорецкое имение более 250 молодых, крепких работников. Будут приглашены немцы – знатоки металлургического дела, проектировщики завода на реке Тирлянке. Землей зверей назовут они это дикое место.

Набожная Дарья Ивановна скоро наметит строительство церкви и осуществит его. А пока в это лето 1781 года она вместе с мужем, которого любила не меньше, чем себя, вступила во владычество этим краем. Оба они по положению были крепостниками, и прибыль от заводского дела заботила их куда больше, чем жизнь тех, кто горбатился у доменных печей и увеличивал их состояние. Однако справедливо будет заметить – особой жестокости и притеснений рабочие при Пашковых-старших не испытывали.

После смерти Дарьи Ивановны заводы унаследует её старший сын. Жизнь заводчан станет невыносимой, наследник прижмёт так, что дохнуть будет нечем. И снова бунты всколыхнут окрестную тишину, запротестуют рабочие: 14 часов был рабочий день, к тому же за малейшую провинность наказывали и штрафами, и плетью, и зуботычиной. Случалось, наказуемый отдавал Богу душу.

Всё это случится на стыке двух веков - XVIII и XIX.

Дуныша к тому времени уже отживёт свой век, отстрадает и отрадуется. Радость одна – это Матвеюшка. Бессчётные ночи провела она на коленях перед образом Богородицы, прося заступничества за сына, чтобы выпала ему доля получше отцовской, чтобы по воле Божией ввел в дом он за белы рученьки свою лебёдушку. По молитве – и благодать.

В тот же самый год, когда Дарья Ивановна стала хозяйкой и когда её муж приблизил к себе Матвея, определив его как главного поставщика дичи к господскому столу, и произошло то, о чём мечтала Дуныша.

Припожаловала на Урал, как девка в красном сарафане, осень. Покрасовалась, прошумела и вдруг, омочив свой подол в студёных после дождя лужах, поникла, жалея утопшее в низких облаках солнце. А к Матвею пришла весна и запела, заиграла в его сердце: он влюбился, да так горячо, что ночи одинокие стали для него мучением, а дни без любушки – длинными и пустыми. А случилось это так. Раз в конце сентября, когда дожди утихомирились, он пошёл охотиться на рябчиков. Берёзы уже потихонечку обнажились, вороха из жёлтой листвы шумно вздыхали под ногами, дополняя лесной шум. Матвей шёл не спеша, время от времени посвистывая в самодельную свистульку, подзывая таким образом рябчиков. Свист тонкий, пронзительно-жалобный. Рябчики именно так и перекликались, будто жаловались матушке-природе на свою участь маленькой птицы, которую господа предпочитают на завтрак под сметанным соусом.

«Тельце-то с кулачок. Ну что тут есть-то? Махонькие какие!» – восклицала со слезами в голосе, готовыми наяву пролиться, сенная девушка-прислужница Пашковых из новеньких, привезённая хозяйкой из своих приволжских имений. Эта жалость к птицам, которых он настрелял за день, и была толчком, что заставил непривычно колотиться сердце Матвея, защемило так, что не вздохнуть, не выдохнуть, если в

серых глазах девушки, готовой расплакаться, не заплещется радость, и эту радость Матвей должен ей дать сам.

Рябчиков, которых Матвей ссыпал к её ногам, надо было ощипать, а у неё руки дрожали от жалости и от страха держать тушку с повисшей на тонкой шее головкой. Матвей вызвался помочь девушке. Сидя на низкой скамеечке, выщипывая из птицы пёрышки, укладывая их в корзину, он искоса наблюдал за девушкой и всё удивлялся тому, как раньше-то её не замечал среди всех девушек, которые казались ему на одно лицо. Но эта круглолицая, светлоглазая, добрая и тем милая. И звали её тепло – Глаша.

По тогдашним временам крепостник-хозяин решал участь влюблённых: либо позволял жениться, либо разлучал. Матвеем и тут помогла благосклонность Александра Ильича. Узнав, что за думы отягчали взгляд Матвея, хозяин одобрил выбор и сразу наметил день венчания.

А потом у Матвея с Глашей друг за дружкой пойдут детки: и будет их шестеро сероглазых, с круглыми, подобными солнышку лицами. Все они вырастут с надеждой на доброе будущее. Далекое и близкое, оно будет принадлежать их потомкам и, как река, что богатеет водами от ручейков, малых и больших, вберёт в себя всё, накопленное человеческим опытом, и плохое, и хорошее, и будет таким, каким выстроит его сам человек в зависимости от своих воззрений, от своего отношения к Небу и Земле...

Во всём течении жизни, подверженной различным изменениям по отношению к нравственным ценностям, неизменна только истинная любовь, та, от которой рождаются дети, благодаря которой покоится старость и хорошеет уголок земли, называемой отечеством и отчим домом.

Да будет так во все века, пока светлоокая река Белая еще любит здешнего человека и надеется на ответную любовь!

Во взаимной любви – залог вечности.

РЕЧКА БЕЛАЯ

Речка Белая, неспешная,
С легким ходом светлых вод,
Поднялась порою вешнею,
Разломала крепкий лед.

Лед держал ее невольницей,
Не стерпела плен она:
Льдины с гулким треском колются,
Речка Белая – вольна!

Повстречалась утром с солнышком,
Разыгралась волной:
«Здравствуй, здравствуй, воля-волюшка,
Я на «ты» теперь с тобой!»

Речка плещет светлой радостью
В милой сердцу стороне.
Семицветье спелой радуги
В каждой трепетной волне.

СОНЕТ РОДНОМУ КРАЮ

Ничто не разлучит меня с тобою,
Мой край в венце Уральских гор.
Шумит-поет высокий бор
Зеленым парусом над головою.
И Белая через плотину лет
Течет, как сталь по желобу, играя.
Не надо мне вовек богаче края:
Мой Белорецк – неброский самоцвет.

Зима здесь катится на снежной тройке,
Грачи весне пророчат праздник бойко,
С лукошком, полным ягод, ходит лето.
Здесь для души безмерное приволье,
Гостей всегда встречают хлебом-солью,
Слагают песни о любви поэты.

ИЮНЬ

Опять сирени половодье,
Волна вскипающих рябин...
Мой город, словно пароходик.
Вплывает в лето,
Дымный сплин
Уходит в небо голубое
Под огненное колесо,
А шум зеленого прибора
Окатывает глубь лесов.
Веселых радуг семицветье
В ту пору тянется с лугов,
И щедро пахнет долголетьем
Земля под бременем цветов.

ИВАНОВ ДЕНЬ

Иван-травник – лучезарный лик!
Зажигает он денницу
На ромашковом лугу,
Запрягает в колесницу
Под цветочную дугу
Теплый ветер – и в зенит
Лихо, с посвистом летит.
Иван-травник – спелых дней родник!

Нина Зимина

Окунуть душою в спелость –
Упоительный восторг,
Обретает крылья тело:
Через яркий костерок
Непредвиденных невзгод
Обозначить перелет.
Иван-травник – луговик и лесовик!
Лунной тропкой, лесом здешним
В час таинственных высот
Проведи меня неспешно
Там, где папоротник цветет –
Колдовской цветок судьбы.
Ах, сорвать его кабы!..

ХЛЕБОСОЛЬСТВО

Деревянные ложки в узорах
Да миски из глины,
Хлеб, душистый, ржаной,
На расшитом лежит рушнике.
Пескариный навар
По традиции кухни старинной
Жарко дышит уже
На середине стола в чугунке.
Разносолы с укропом,
С чесночной приправой,
По-русски
Подперченное щедро
Рябит пескарей серебро.
У хозяйки хлопчущей
Быстрые, ловкие руки,
От радушных движений
Как будто исходит добро.

Побасенкой да шуткой
Завязана крепко беседа.
Веселынь за столом.
В пору песне по кругу расти.
Что ж такого?
Сосед угощает на славу соседа.
Так в России велось
И ведется,
И будет вестись,
Как бы жизнь ни крутила.
Что бы с нами в дальнейшем ни случилось.
И сама я не раз
За таким вот столом угощалась.

МАСЛЕНИЦА

Легенда

1.

В дальнем лесе на пригорке,
Где играют в прятки зорьки
Между сосен вековых,
Нянек-мамушек седых,
Во еловом теремочке
Дед Мороз лелеял дочку –
Баловницу-чаровницу,
На проказы мастерицу.
Она сыплет из окошка
Смеха жаркие горошки –
И сияют небеса,
Просыпается весна
Средь сугробов на перинах,
Снежный занавес откинув.

2.

А у леса под горой
Жил народ на вид смурной –
Неулыбы, неуживы,
Зимней ночи старожилы.
Их томила скукота.
Изводила лихота,
С ног валила немочь-сонь,
Затухал в печах огонь,
Замерзали щи и каша,
Смерть казалась жизни краше.
Пожалел Мороз людей,
Свистнул солнечных коней:
Дочку чтобы баловницу,
Веселицу, чаровницу,
На проказы мастерицу
Покатали под горой
На кошевке расписной.

3.

В непогожий снежный день
Бубенцы – звень да позвень –
У околицы всплеснулись,
Люди, словно встрепенулись,
Высыпали из ворот,
Гостью каждый в дом зовёт.
Раздувает самовар.
На загнетке дышит жар.
Тесто пышется на масле.
Солнце вышло из-за пряслин.
До Великого поста
Впереди – в шесть дней верста.
ПОНЕДЕЛЬНИК – ВСТРЕЧА: гостье
Горку блинчиков подносят,

Чтоб умаслить пылкий нрав
Для зачина всех забав.
ВТОРНИК – ЗАИГРЫШ веселый:
Покатились за проселок
Тройки солнечных коней –
Вихрем снег из-под саней! –
На коленях у парней
Девки жаркие хохочут,
СРЕДУ-ЛАКОМКУ пророчат.
Закрутилось каруселью
Тут веселье, там веселье.
Во ШИРОКИЙ ВО ЧЕТВЕРГ
В окнах свет всю ночь не мерк.
Весельнень катилась с горки
Прямо в ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРКИ
ПЯТНИЦЫ – соратницы
Радостной СУББОТЫ:
На гармонике игра,
Песни-басни до утра –
Вот ее заботы.
У ЗОЛОВКИ ПОСИДЕЛКИ –
Одинаковы безделки:
Семечки-конфеты,
О любви секреты,
Завлечение-кадриль –
Каблуки взбивают пыль,
Распалились ухажеры –
Своротить готовы горы.
Девки – тоже им под стать –
До зари легки плясать...

4.

Прокатились-пролетели
Зори масленой недели –
Разудалой и честной,
Породнившейся с Весной.
На границе встреч весенних –
ДЕНЬ ПРОЩЕННЫЙ – ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Безобидный ЦЕЛОВНИК
В губы, в маков цвет ланит:
Прочь из сердца тень-досада,
А из дома – дух разлада!
Да взойдут во все лета
Благость, щедрость, доброта!

Прощай-прости, Масленица,
Чаровница, веселица,
На проказы мастерица!
Приходи к нам без забот
В эту пору каждый год!
Прощай-прости, Масленица!



ЭПИЗОД ИЗ ЖИЗНИ ТЕТКИ ТАШИ

Рассказ

День для старых людей тянется медленно. Он, как ленивый дряхлеющий конь, которого непонятно для чего запрягли в телегу и пустили по дороге от утра до вечера, и он идет, осторожно пробуя стершимися подковами дорогу, подставляя теплomu солнцу округлившиеся на безделье бока. Идет, блаженно щурясь то ли от ярких лучей, то ли от воспоминаний, как когда-то он, горячий скакун, высекал искры подковами, оставляя за собой короткие километры.

День для старых людей начинается рано, еще до восхода солнца, той немудрящей работой по дому, без которой жизнь была бы лишена смысла. Тут и солнце поднимается из-за верхушек сосен, заглядывает в чисто выметенные дворы, на выскобленные ступеньки стареньких крылечек, жданным гостем входит в дом и устраивается вместе с хозяевами за поющим самоваром, а потом, довольное, примостится на бревнышках рядом с соседками, коротающими время за разговорами.

И чего здесь только не услышишь: и про белых, и про красных, про любовь, которая в то горячее время была еще горячее и нетерпеливее, чем сейчас, потому что некогда было молодым мужьям нежиться со своими любимыми: уходили, уезжали они за ту самую гору, откуда восходит солнце, биться за свою, мужицкую власть. И рассказывают соседки друг дружке каждая про свое, да так, как будто все пережитое ими было только вчера, а не добрых полсотни лет тому назад.

Мужики собирались обычно около избы деда Ивана Бертина, а бабы у двора тетки Таши. Жила она одна. Суженый ее не вернулся с гражданской. А сын Дмитрий еще мальчишкой уехал в город, в ФЗУ, да так и остался там на заводе. Сначала заезжал часто со своей женой Зоей, а теперь – только по великим

праздникам. Зато внук младший на мотоцикле в летнее время сколько раз завернет. Зовут они тетку Ташу в город, уж и комнату приготовили отдельную. А ей и хочется под старость пожить рядом с сыном да внуками, и в то же время сердцем чувствует, что не сможет она и недели прожить там, среди тучных казенных зданий, загораживающих восход солнца.

– Как там у них бываю, все гляжу и думаю: не за горой ночует солнышко, куда Ондрюша мой ушел, а на трубе соседнего дома. Думаю да помалкиваю: засмеют ведь они меня, старую. Ишь, скажут, чего навыдумывала. Они ведь без своего города да завода дня прожить не могут. Ну и пускай. Им свое дорого, а мне свое. Соседки слушают тетку Ташу и понимающие поддакивают:

– Знамо, оно так, Федоровна. Мы уж к этим местам сердцем прикипели. Вся жизнь прошла тут, в лесничестве. Каждое дерево знакомо. Каждая гора родная. Все тропки исхожены. Человек, что птица: в какие края ни летай, а лучше родного гнезда не сыщешь. Живи тут и не думай. Пускай они сами ездят сюда. Пятнадцать верст с ихними-то мотоциклетными трещалками – не дорога. Бывало, в город на базар пешком ходили и то не уставали. В удовольствие через лес по горкам-то...

В душе тетки Таити после таких успокоительных речей таяли последние тревожные мысли о переезде, и жизнь шла своим чередом с долгими просиживаниями на летнем солнышке за разговорами да вязаньем варежек и носков для снохи и внуков, на которых все, как на огне, горит: не успеешь связать – опять пятки прожжены.

Так проходило лето за летом и зима за зимой, с той только разницей, что в зимние дни собирались в теплой избе тетки Таши.

И наговорятся, и напоятся, и насмеются, и наплачутся.

Телевизоров здесь не держали. Не потому, что денег жалели, а потому, что больше всего дорожили живым человеческим общением.

– Ведь в городе оно как? Старуха старуху в одном доме не знает. Все по своим квартирам. Вперятся с утра в телевизор этот, и до вечера не оттащишь. Все подряд глядят. Уж и песни-то забыли свои. За столом чарки поднимают, а петь – не поют. За них телевизор поет. Так и беседу-то вести разучишься.

А у тетки Марьи причина не иметь телевизор была самая веская:

– Как ни кино, там все угощаются, а старика моего сразу завидки берут. Как приедем к дочери, так прямо одно наказание.

Потом перечислялись еще значительные помехи и неудобства, которые вносит телевизор в жизнь человека, и обычно сходились на том, что и кино-то – обман, выдумка, а коли обман, так чего и смотреть его. Так думали почти все, пока этой весной не случилось то, что перевернуло весь привычный уклад жизни на селе, где теперь и жить остались только старожилы.

Ярким весенним днем в село въехал автобус с полузашторенными окнами. На правом боку мягко покачивающегося «Икаруса» красовалась надпись: «Киносъёмочный». Из автобуса выскочили два бородатых парня и три девушки в нескромных юбках, которые сначала смущали степенных бабушек. Парни объяснили, что скоро начнут снимать фильм о прошлом одного сибирского села.

– Чать, здесь не Сибирь, а Урал, – с достоинством возразили им мужики.

– Урал ваш, деды, и по красоте, и по разнообразию природы – и Сибирь, и сама вторая Швейцария. А сопки? А вон те перелески? Это как раз то, что нам надо. Ваше село, окруженное вековыми соснами да лиственницами, – типично сибирское. Кое-что мы вам здесь построим, и все будет – лучше не

придумать А главное, от Москвы недалеко: два часа лету. И здесь можно снимать, и в павильоне.

Вот с этого-то дня и изменилась жизнь на селе. Наполнившись новыми встречами, новыми разговорами, впечатлениями и желанием быть если не в центре, то около происходящего. Дни летели один за другим, будто им приделали крылья.

На отлете у большой дороги началось строительство. Мужики сначала все только посматривали, удивлялись да усмехались, зажав в прокуренных зубах козы ножки, а потом не вытерпели – помогать стали: где что приладить, где что подбить.

– Какую домину взвалили! Под тесовой крышей, а стены из горбыля! – поражались бабы.

– Дак я ж вам говорила, – скептически поджав губы, вступала в разговор тетка Марья, – в кино все понарошке. И вино, говорю старику, пьют понарошке. Не вино, а воду. Стал бы ихний купец, кабы на самом деле, жить в таком доме. Тут ветер-то насквозь пролетает, где уж теплу удержаться...

– Ничего ты, Марья, не понимаешь, – возражала тетка Таша, – Зачем им капитальный дом? Отснимут что надо, да и все. Для кого туда тепло загонять?

Потом за какую-то неделю село трудно стало узнать. Жизнь забурлила крутым кипятком: машина за машиной, артисты за артистами. Народ обыкновенный, ничего в них нет напускного, а интересный. В избе тетки Таши поселилась на время съемок молодая актриса Тamarочка. Все расспрашивала тетку Ташу про ее жизнь и ничуть не удивлялась, что Татьяна Федоровна (так она ее величала) всю жизнь после гибели своего Андрея прожила одна и не передала любовь свою другому. А тетка Таша охотно вспоминала и о тех, кто торил вечерами к ее избе тропку, кто робко или настойчиво стучался в оконную раму, подкарауливал по дороге домой с лесной делянки, где работали женщины.

– Иван один, степенный такой лесоруб, сватов присылал, и уж колебалась я. А как погляжу на Ондрюшину карточку, где с ним женихом и невестой сидим, все сердце перевернется: не будет тебе, Татьяна, крепче и ласковее мужниного ничье плечо. А Ондрюша вроде смотрит на меня с карточки да поддразнивает вот, мол, и вся любовь?.. Отказала Ивану и не жалела никогда.

Слушательница утвердительно кивала головой, верила, что не жалела, и тетка Таша воодушевленно продолжала:

– Жизнь, Тamarочка, кому как задастся. Только бы не оступиться, слабость не проявить, а остальное все приладится. Меня и мужики, и бабы уважали. В войну-то командовала я здесь, пока мужики воевали. Лес-то бабам пришлось валить. И смех, и грех. Рученьки сперва так болели, пока к топорам да пилам привыкали. А потом... Любого мужика, бывало, заткнем за пояс. Только треск идет. А ведь надо было еще и покосы убирать.

Митю тогда, сына, как он ни просился, ни рвался на фронт, по брони на заводе оставили. Так я каждую субботу в город шла, молока ему несла, яичек, а к утру другого дня опять возвращалась. Выходных мы себе не устраивали. Может, для того всю силу отдавали тогда, чтоб теперь вот старость в безделье проводить да младость внуков лелеять.

Жизненная энергия тетки Таши чувствовалась и сейчас во всем, что бы она ни делала, что бы ни говорила. Энергия эта была неиссякаемой, потому что питалась большой любовью тетки Таши ко всяким проявлениям жизни, а если и дремали еще не израсходованные силы, то не потому, что ей, как и другим старикам, делать было нечего, а потому, что все положенное в жизни она уже сделала...

Село как будто окончательно вырвалось из прежнего состояния тихого блаженства и зажило бурной, неведомой доселе жизнью. Каждому нашлось дело в многочисленных массовках. И старики бегали, что молодые, разыскивая старую деревенскую утварь, одежду для участия в съемках.

Тамарочка тоже изо дня в день пропадала с артистами и режиссерами на съемках и возвращалась только к вечернему чаю, рассказывала о своей работе над ролью.

– Катерина моя – в точности вы, Татьяна Федоровна, в молодости. Только жила она чуть пораньше вас. И любовь у нее была такая же горячая и верная. Но задумал отобрать у нее ту любовь один уже немолодой купец, позарившийся на красоту Катерины, и муж ее ушел до срока в солдаты, в царскую армию, а тут война империалистическая. В общем, не вернулся он.

Тетка Таша слушала и вздыхала, вспоминала свое.

– А что бы вы, Татьяна Федоровна, сделали, если бы кто-то посягнул на вашу женскую честь?

Тетка Таша несколько не задумалась над ответом:

– Что бы я сделала? Змеей бы обернулась, а из рук выскользнула бы...

Убедительной решимости тетки Таши трудно было не поверить, и Тамарочка смеялась от душевного удовлетворения.

В один из дней Тамарочка попросила тетку Ташу провести ее по всем местам – свидетелям любви молодой красивой Ташеньки и Андрея, а вечером собралась на съемки:

– Благословите меня, Татьяна Федоровна. Иду поджигать хоромы ненавистного притязателя. Тут уж никакие деньги ему не помогут.

Тетка Таша не хотела отставать от Тамарочки:

– Я со стороны погляжу, как он там метаться станет. Может, чем помогу тебе, подсоблю.

Всё село не спало в ту ночь.

– Шутка ли – домину такую запалить, – сокрушалась Марья. – Беда какая – купец ее полюбил. Да у купца-то она бы, как сыр в масле, каталась. А теперь мыкай горе по свету. Ещё и посадят, небось.

– Ничего ты, Марья, не понимаешь, – останавливала ее тетка Таша, – заносит тебя маленько, не с той ноги идешь.

Глубокой ночью на съёмочной площадке притушили огни прожекторов, включили камеры, и настал решительный момент, когда Тamarочка – уже не Тamarочка – с отрешенным, злым лицом подкралась к дому «притязателя», подперла дверь, обложила дом по фасаду соломой и подожгла ее. Дальше, по сценарию, чьи-то цепкие руки должны были схватить героиню, и она потратит немало усилий, чтобы высвободиться и убежать. Но когда настал этот момент в съемке и Тamarочка забилась в руках преследователя, вдруг из-за плетня метнулась к ней тетка Таша, с невероятной силой оттолкнула ничего не понявшего в тот момент артиста и с криком: «Сюда беги, милая!» – увлекла за собой Тamarочку в темноту.

Этот эпизод наделал много хлопот. Сначала все ошарашено молчали, потом поняли, кто это вмешался, и от души смеялись. Режиссер с оператором долго ломали голову, как переснять этот момент, теперь уже без тетки Таши, но на другой день, когда просмотрели этот кусочек, решили, что реалистичнее и убедительнее вряд ли получится. Да и не всё ли равно: сама вырвалась героиня или ей помог кто-то из сочувствующих односельчан. Так даже лучше: значит, она не одинока.

Вскоре после этого Тamarочка должна была лететь в Москву, где съемки продолжались в павильоне. Татьяна Федоровна даже всплакнула с утра в день ее отъезда: привычка все же...

– Я еще приеду к вам, Татьяна Федоровна, зимой, колхоз по фильму организовывать, – успокаивала ее Тamarочка, – А ещё похлопочу там, в Москве, чтобы Катерину мою Татьяной назвали. В вашу честь, Татьяна Федоровна.

Тётка Таша просветлела лицом, поправила и без того хорошо повязанный платок и по-матерински ласково провела ладошкой по пушистым волосам Тamarочки:

– Ой, милая, да не все ли равно, как ее прозовут: Катерина ли, Татьяна. Сколько нас с такой судьбой по градам и весям рассеяно, поди – посчитай.

Нина Зими́на

...Тетка Таша, проводив Тamarочку, шла обратно, а соседки ее с косами и граблями, закинутыми на плечи, собирались на косьбу. Село возвращалось к обычной жизни.



НАРИСУЙ НЕВОЗВРАТНОЕ

Юрию Байбордину

Нарисуй мне, пожалуйста,
переулок Тукаева,
Флигельки, пятистенники
у пологой горы,
Белопенное облако,
золотистое марево,
Радость непреходящую
той далёкой поры.

Нарисуй палисадники
и метель тополиную,
Время вешнее, бражное,
что похоже на сон.
Нарисуй удивленного
и немного наивного
Долгоногого мальчика
с волосами, как лён.

Нарисуй дни счастливые
на забавы и шалости
И девчонку-насмешницу,
что жила за углом.
Из того чуда-времени
так немного досталось нам,
И не только дома пошли
на безжалостный слом.

Нина Зимина

Не жалея красок радужных,
создавая идиллию,
Позабудь, что для контура
подходящ чёрный цвет.
Неужель отмечтали мы?
Неужель отлюбили мы?
Нарисуй в невозвратное
перелётный билет.

Там идут наши матери
с голубыми ведёрками
Зачерпнуть в речке утренней
переливы зари,
Чтобы краски твои всегда
были яркими, зоркими,
Чтобы слово моё несло
теплый свет изнутри.

... Нарисуй невозвратное.

КОЛОКОЛА

Мустаю Кариму

В седой глуши времен здесь, на Урале,
Колокола из меди отливали
Колодники и вместо серебра,
Что полагалось в качестве прибавы,
Вливали в пламень меди мастера
Тоску по небу, по лужковым травам,
По вольным нестареющим ветрам,
По птичьим неслабеющим крылам.

С тех пор не только на моем Урале
Колокола смеялись и рыдали,
И задыхались, прикусив язык,
Бессильно свесив головы со звонниц.
Безбожники крестились в этот миг.
А ветры улетали от околиц
И разносили колокольный звон
По всем округам с четырёх сторон.

Звон теноровый, подкрепленный басом,
Прозвали христиане Божьим Гласом
И верили: услышит человек
На перепутье или на рассвете
Звон колокольцев – то к любви навек,
А бас большого колокола – к смерти,
Коль все колокола разломают высь –
То крылья счастья увенчают жизнь!

Нет ни цепей, ни боли – всё отринет...
И ныне колокольный звон не стынет,
И присно, и во веки всех веков
В просторном небе и удушном склепе.
Знать, в душах колокольных мастеров,
Закованных в бессмысленные цепи,
Поэтов дар безвыходно томился.
Он с вечным небом в жарком звоне слился.

РОДНЫЕ

Вздыхну, зажмурюсь на мгновенье:
В глазах вчерашний добрый свет,
И душу полнит вдохновенье,
Непобедимо, как рассвет.

Родные преданные лица
В крылатый час опять со мной.
Вновь вяжет бабушка на спицах
Узоры радости земной,
А дед смолит, готовит дратву
Потолще валенки подшить,
Чтоб мне легко бежалось в завтра,
Во взрослую летелось жизнь.
Отец глядит почти сурово:
В проказах спуску не проси.
Шьёт мама к празднику обнову –
Красуйся, доченька, расти...
Прошло немного и немало,
А тянет к тем святым огням,
Не раз весна цвела, ссыпала
Черемуховый цвет к ногам.
Любовь меня не обделила,
Но и беда не обошла,
Рвалась я к солнцу однокрыло,
Судьба дала вдруг два крыла.
Бывает, туча входит в тучу,
Гроза – в грозу, а я лечу
По траектории везучей,
Сама себе кажусь живучей,
Другим – страдальцей,
Шучу,
Что дед пришил мне дратвой крылья,
Узор на пёрышках – земной,
А что мечта сдружилась с былью,
Тому родители виной.
Так и живу я в окруженье
Родных, даривших добрый свет,
И наплывает вдохновенье,
Непобедимо, как рассвет.

ЖИЗНЬ, КАК ЧАША ВЕСОВ

Опустел наш радушный дом:
Увезли нынче маму в больницу,
И повеяло сквозняком,
От которого не укрыться.

Мама, мамочка! Что с тобой?
Неужель твои годы бунтуют?
Семь десятков, из них любой –
Ростом в жизнь, ой-ой непростую.

Жизнь – как чаша весов: беда –
На одной, на другой – живучесть.
Утекла живая вода,
Отвздыхав, под камень горячий.

Мама, мамочка! Подожди!
Принесу тебе той водицы.
Вновь идут по земле дожди,
Ручеёк вот-вот возродится.

Россия – родина, мой светлый дом
В краю, где зори плещутся счастливо,
Где вербы тихо шепчут над прудом,
Сбегают сосны к речке торопливой.
За лесом – поле: края не видать,
А чуть поодаль высветились горы.
Тут у подножья гор мой светлый город,
И смотрятся века в речную гладь.

УТРО

Ещё в луга не вышло стадо,
Туман разнеживает вязь,
Полощут горлышки прохладой
Пичуги, распевая всласть.
Ещё людской не слышно речи,
В домах дремотно и тепло,
Заря благословляет певчих,
Даруя силу под крыло.

Земля живая – это пашня,
Парная, ждущая зерно.
Ядрёным соком снег вчерашний
В ней колобродит, как вино.

Играют силы, копят нежность.
Ростки проклюнутся едва –
И зацветёт над полем свежесть,
Вдохнёшь – кружится голова.

Дожди и солнце всходы холят.
Ты, человек, свой долг верша,
Храни от разных болей поле:
Земля ранимее, чем душа.

ДЕРЕВЕНСКАЯ ОСЕНЬ

Осень даль золотую топит
В худосочных туманных дождях.
Обозначились волчьи тропы
К человеческому жилью.
Впотьмах
Может даже хозяин леса,
Не страшась ружейной пальбы,
Через изгородь из-под навеса
Уволочь телка.
На дыбы
Встанет, рывкнув, пойдет куролесить
Вдоль дороги: «Эй, трус! Берегись,
Не ходи в одиночку лесом –
Задеру! – прощай-прости, жизнь» ...
Деревенская осень сварлива,
То размесит повсюду грязь,
То румяно-свежим наливом
Глянет в окна людей, дивясь
Их спокойному, доброму нраву.
Огороды пусты уже,
Во стогах луговые травы.
Нет ни ласточек, ни стрижей.
Деловитые воробьишки
Лишь чирикают из-за стрех,
Да порой будоражит затишье
Незлобивый собачий брех.
Приосанились бабы в ненастье –
Отдыхают от дел мужики.
Философски вновь дядя Вася
Смотрит в зиму из-под руки.
У него в подполье картошка
И поленица дров во дворе.

Нина Зими́на

До весны осталось немножко,
Путь к ней осень кладет в октябре.
Весны бурные отшумели,
Но томится и жаждет душа
Под залиvistый смех капли
Ранней свежестью подышать.
Дядя Вася немало пожил,
Знает в поздней охоте толк,
Испытал на собственной коже,
Что такое отшельник-волк.
Без ружья на туманной зорьке
Ходит слушать рябчиков свист.
Средь березок, как осокорь, он.
Под ногами опавший лист.
Позади давно бабье лето,
Впереди туманная муть.
Сжав до боли в зубах сигарету,
Заспешит он в обратный путь
По тем самым, по волчьим тропам.
Мир – дороге... Небу – любовь...
Осень даль золотую топит
В той реке, где нет берегов.



2. ВОЙНА СВОИ ПИСАЛА ГЛАВЫ

*УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ...*

ВETERANAM

Война свои писала главы,
Всё в жизни мерилось войной,
Военный фронт тогда был главным,
И главным фронт был трудовой.
В бой провожали добровольцев,
Звенела вслед оркестров медь.
Шли ветераны, комсомольцы,
Девиз один – «Фашизму смерть!»
И у станков, у дозн, к мартенам
Вставали рядом – стар и мал,
И больше норм любая смена
Давала Родине металл.
Мечтали все о небе чистом,
И каждый был услышать рад,
Как там, в бою, настиг фашиста
Здесь, в цехе, сделанный снаряд.
Немало трудностей изведав,
Секунду каждую ценя,
Достигли цели: в путь к Победе
Шла Белорецкая броня.
В родных цехах, как в поле бранном,
Несли врагу прямой ответ.
Земной поклон вам, ветераны,
Бойцы труда военных лет.

КЛАРНЕТ

Рассказ

Уже три месяца шла война. За это время в наш маленький город пришло тридцать похоронок, а двое вернулись с фронта инвалидами. Но в эти же три месяца почти ежедневно появлялись на свет девчонки и мальчишки.

Около окон родильного дома, обычно светло смотревших на тихую зеленую улочку, а теперь словно погрузневших, как и прежде, толкались радостные папаши, родственники, довольные, что все хорошо обошлось. Но и довольство, и радость были приглушенными всеобщим горем. Женщины, прижав к груди туго запеленатых младенцев, стояли за переплетами окон, тревожно улыбаясь. Родственники ободряюще махали руками, кричали разные наставления, хотя слова и разбивались о толстые стекла двойных рам.

По тем осколочкам слов, которые долетали, трудно было что-либо понять, но женщины в ответ согласно кивали головами.

Радость и тревога, счастье и горе как бы смешались в одно, а скорее всего уже не могли существовать отдельно друг от друга, как это было совсем недавно, три месяца назад, когда время счастливо измерялось от утра до вечера и с вечера до утра. Теперь оно текло от одной сводки Информбюро до другой в ожидании сообщения, что врага остановили и погнали прочь.

Именно в это время родилась я.

На другой день моего появления на свет мама радостно держала меня на вытянутых руках перед окном, за которым стояли мой отец и брат. Отец крупно на тетрадном листе написал мое будущее имя и поднял высоко над головой. Мама прочла и одобряюще закивала. Потом, тревожно вскинув брови,

посмотрела на отца: не пришла ли повестка. Он прокричал ей: «Завтра не приду. Работаю в две смены!» До нее долетели сквозь двойные рамы только два последних слова, но и этого было достаточно. Мама облегченно вздохнула.

И вечером, когда сентябрьские сумерки затуманили окна, мы обе спокойно уснули. Маме снилась музыка. Кларнет выводил сладко-щемящую мелодию популярного в те годы танго «Утомленное солнце тихо с морем прощалось». И мама, никогда не видевшая моря, кружилась по волнам в белом подвенечном платье. Вдруг волна захлестнула ее, сразу зальнули уши.

Музыка оборвалась. Один из троих маминых братьев – Николай – бросился спасать ее, выхватил из воды, вынес на берег уже не моря, а нашей речки Белой, усадил под сосны и пошел прочь, выигрывая на кларнете. «Коля! Постой!» – крикнула она ему вдогонку.

И очнулась. Сна как не было, но музыка все лилась и лилась, теперь уже наяву.

«Боже! Это Коля! Что же он так поздно?» Мама рванулась с кровати к окну. Я тоже проснулась и закричала. Она взяла меня на руки, прильнула к стеклу. Коля, ее брат, а мой, значит, дядя, стоял под окном и негромко играл на кларнете. Он, это мне уже рассказывали потом, очень любил «эту трубку» и спать готов был, не выпуская ее изо рта. Увидев маму, Коля заиграл громче, и я тут же перестала плакать. Мама до сих пор вспоминает об этом со всеми подробностями и полушутя, полусерьезно говорит, что, если бы не Колина песня в тот вечер, у меня, может быть, и не было бы тонкого слуха, обостренной любви к музыке. Я стала пианисткой.

А дядя Коля поиграл еще немножко, глядя на нас сквозь сумерки, помахал рукой и, медленно пятясь, пошел от окна, унося с собой мелодию. «Чудак, – проговорила, улыбаясь, мама. Молодой еще. Вот и не спится». Ей и в голову не пришло тогда, что Коля приходил прощаться. Больше мы не видели его никогда. Следующим утром он ушел на войну добровольцем.

До середины сорок третьего года хоть и редко, но шли от него письма. В последнем была фотография: дядя Коля, чернобровый красавец в пилотке набекрень, старательно выводит что-то на кларнете, его окружили солдаты, такие же, как он, молодцы, и задумчиво слушают.

Что он играл?

Может, ту же самую мелодию, от которой у меня прорезался слух?

Осенью сорок третьего вместо письма пришла похоронка... И осталась только память о Коле, добром, веселом человеке, для которого выше любви к музыке была только любовь к Родине.

Много лет спустя, просматривая газеты, я натолкнулась на заметку о том, как пионеры-следопыты на берегу Днепра нашли братскую могилу, холмик с упавшей звездой, вырезанной из жестянки и прибитой к деревянному столбику. Комель раструхлявился за долгие годы, и столбик упал. Густая трава обвила его, скрыла от глаз людских. Подняли этот немудрящий памятник, сделанный впопыхах, а может, даже и во время боя. Поперек вмятины от столбика вдавилось в землю еще что-то. Разодрали дерн, и извлекли... кларнет. Удивительную находку обтерли, очистили от земли никелированные пуговицы на клапанах. Попробовали подуть в мундштук, нажимая на пуговицы поочередно, но кларнет только сипел в ответ: видно, дожди да талые воды лишили его голоса, а может, слушался он только своего хозяина, погибшего здесь, на далекой от нас и в то же время очень близкой войне.

Кто он, хозяин этого кларнета? Солист симфонического оркестра? Импровизатор джазовой группы, столь модной в довоенное время? Предположений в заметке высказано было немало. А к ним прибавилось и еще одно, мое: а может, это кларнет моего дяди, которому суждено было быть большим музыкантом, да вот война помешала, оборвала его песню, отобрала жизнь.

Светлая седмица. Божие Воскресение.
Облака в лазурной вышине, –
Может, это души в белом оперении,
Души всех, погибших на войне.

Там, у горизонта, где лазурь темнее,
Вновь кроваво дыбится закат, –
Может, это знамя над землею реет,
А под ним спит вечным сном солдат.

И березы, будто в горестном смятенье,
Льют святые слезы по весне.
Светлая седмица – Божие Воскресение,
Радость в необъятной вышине.

СЛОВО К ЛЮБИМОЙ

*Пропавшим без вести на войне
посвящается...*

Летний ветер, легкий и румяный,
Надувает паруса небес.
По-над Белой в тишине туманной
Радуги мосток наперевес.

По нему сойду к тебе, далёкий,
Постучусь в незапертую дверь.
Без вести пропавший.
Давним срокам
Ты не верь, любимая, не верь.

Нина Зими́на

За иконой не храни бумагу,
Не кляни разлучницу-судьбу.
Всю войну я шёл к тебе – ни шагу
В сторону – шёл и теперь иду.

Сквозь года иду по тем дорогам,
Где гремели лютые бои.
Отлетали души наши к Богу,
Отпевали павших соловьи.

Ну а я погиб на безымянке.
Миномёты взрыли высоту.
Всё: земля, солдатские останки –
Мешанина. Места нет кресту.

Я – нигде. А ниоткуда письма
Не пошлешь по почте полевой,
И в итоге наш армейский писарь
Извещение шлёт тебе домой:

«Без вести пропал». А что тут скажешь?
Голуби стремятся к небесам.
Неизвестность стала верным стражем,
Вечность стала памятником нам.



ЧАЙ

Чай с медовой карамелью,
Самовара говорок.
Чуть прищёптывая, трелью
В чашки льётся кипяток,

Добавляется при этом
Из заварника янтарь.
Знают бабушки секреты,
Как заваривали встарь,

Чтобы сердце ровно билось.
Не кружилась голова,
Чтоб трудилось и любилось,
Кстати разная трава:

Первоцвет красы-душицы,
Золотистый зверобой,
Горстка ранней медуницы,
Ландыш белый, заревой.

Не настой, а просто чудо.
В нём шиповника плоды
От простуды, от причуды,
От любой другой беды.

Собираются соседки
Посидеть, чайку попить,
Завести любовь-беседу
И тайком слезу пролить.

Нина Зими́на

Не на зависть – доля каждой –
Распроклятая война.
Тяжела её поклажа,
Глубока её вина.

Вспоминают, сидя кругом,
Те далёкие года,
Любованье с милым другом
И прощанье... навсегда.

Как потом в упряжке вдовьей
В жизнь везли семейный воз,
А рубахи пахли солью
И от пота, и от слёз.

Хлеб растили да косили
И шутили между тем:
Чай не пьёшь – какая сила?
Нету силушки совсем.

Берегли детей-отраду,
Сладость горькую одну,
Поросль сгубленного сада
В ту проклятую войну...

Годы-мельницы смололи,
Перетёрли в жерновах
Много горя, много боли,
След помола в волосах.

Пьют подолгу чай бабуси,
Ароматный, золотой.
Карамельки чуть откусят
И опять наперебой

На берегу Белой

Вспоминают, вспоминают:
Всё ли вспомнить до конца!
Чай по чашкам разливают
С терпким духом чабреца.



БАБОЧКА ПОД КОЛПАКОМ... ВОЙНЫ

Эссе

Ярко напомаженные губы на морщинистом лице. Мутный, устремленный не под ноги, а в какое-то необозримое пространство взгляд. Медный налет смывшейся краски на седых растрепанных волосах. Пьяная полуулыбка уродливо втягивала уголки губ в дряблые щеки. Потраченная молью синяя шерстяная кофта застегнута так, что правая пола на один ряд пуговиц свисала ниже левой. Стараясь сохранить равновесие, старая женщина шла так, будто на ней парадный наряд, а не жеваная юбка и стоптанные туфли с аляповатыми бантиками на носках. Порой с широкого шага она срывалась на бег, размахивала руками, будто летела. Вы думаете, что ее устремленность вперед – следствие неуверенности в пьяных ногах? *Вовсе нет...*

Она в это время видела и представляла себя семнадцатилетней, бегущей по майскому лугу с сачком в руках за бабочкой, сама похожая на бабочку. Легкие сандалии, цветастый сарафан, светлые волосы подхвачены встречным ветерком, в радостных глазах свет неба. Оранжевая бабочка, как солнечный осколочек, забилась под колпаком. Ах, как больно, обидно бабочке... А девушка радуется удаче. Она пока еще не знает, что такое чужая боль. Да и своя тоже неведома. Она бежит по лугу навстречу счастью, навстречу первой любви... И вдруг обрыв. Черный провал. Опрокидывается небо, скатывается с него солнце и тонет в черноте...

Старуха упала, споткнувшись о выступ на тротуаре. Кто-то засмеялся. Кто-то сочувственно покачал головой. Кто-то брезгливо поморщился. Но никто не подошел, чтобы помочь подняться. Лежала, прижавшись лицом к выщербленному асфальту...

Над головой рвались снаряды, вдавливали в землю, визжали пули, издеваясь над ней: «Боиш-сс-ся!» – посвистывали: «Не бойсь! Не бойсь!» – уговаривали. Она перевозмогала страх и продвигалась вперед: где ползком, где перебежками от воронки к воронке. Сумка с перевязочным материалом висела на шее, очень мешала, когда приходилось плашмя падать на землю, на сумку, как на камень, грудь. Солдатские галифе, – юбка вообще не годилась в боевой обстановке, – на коленках, как почерневшая береста, от прилипшей земли и засохшей крови...

«Вот он, голубчик», – так она называла всех, кого перевязывала и выносила из-под огня, – лежит, корчится, извивается от боли, пытается подняться, но тщетно. Она усаживается рядом с ним на землю, уже не слыша разрывов и свиста пуль, кладет его окровавленную голову себе на колени, очищает от прилипших комков грязи. «Потерпи, голубчик!» – дует на то место, где взбугривается кровь, чтобы не так ему жгло, перевязывает. А у него еще и ноги перебиты. Подвела ему подмышки веревку, обвязала грудь и потащила, будто куль, в безопасное место. Если бы на стволе березы делать зарубки, сколько таких голубчиков она перетаскала на своих плечах, то до верхушки дойдешь, и места не хватит.

Бабочка под колпаком войны. Больно. Горько. Обидно за других. Жалко себя. Еще жальче раненых. Вот она, чужая боль. Мурашки по коже. Слезы на глазах. Сначала плакала над каждым раненым. Потом попривыкла. И свою боль она извела. В неполные девятнадцать попала в госпиталь. Осколки впились, ввелись в правое бедро, в бок, в пах. На операционном столе выковыривали их из нее целую вечность. «Все у тебя хорошо, деточка... Вот только детей не будет», – сказал ведущий хирург, когда выписывали из госпиталя.

Но до детей ли, когда война...

Война...

Под темным августовским небом, исчерченным трассирующими пулями, девушка-санинструктор (после

ранения повисили и в звании, и в должности) помогала грузить раненых в кузов полуторки. Звезды то и дело срывались с неба – хоть ладони подставляй. Машина, взревев, затарахтела по колдобинам, направляясь в тыл. Девушка помахала во след в темноту, желая безопасного пути.

– Ну что, сержант? Какую звезду вы хотите в подарок? Эни-бени-ресом-квинтер-финтер-жесом! И звезда – ваша!

– Звезду Героя Советского Союза! Можете?

– Это посложнее. Но на войне нет ничего невозможного.

Особенно для таких девушек, как вы!

Старший лейтенант, командир 2-го батальона, высокий, сероглазый, со строгим голосом, давно смущал ее своими быстрыми, сквозящими взглядами: посмотрит и пройдет мимо, а у нее сердце сразу же начинало бухать и нагнетать кровь к щекам. И вот он рядом, готов подарить ей небесную звезду, а она, практичная дурочка, вон что ему сказала. Но он почему-то рассмеялся. Смех похож на теплую звездную ночь, вовсе не строгий.

...Поцеловались они через неделю. Она неумело ткнулась губами в его подбородок.

– Ты что, еще ни с кем не целовалась?

– Ни с кем... – обреченно сказала она ему, испугавшись, что своим неумением целоваться оттолкнет его от себя.

Получилось наоборот.

...А еще через неделю она рыдала над ним. Льдисто-серые глаза он устремил в небо, с которого в этот раз сорвалась их звезда, разбилась. Не осталось даже осколков.

...Старуха очнулась, подползла к краю тротуара. Цепляясь за ствол березки, села, уронив голову в холодные ладони. Она горько плакала. Его льдисто-серые глаза немигаючи пронзали ей сердце. Больно. Горько. Пятьдесят лет подряд они, преследуя ее, глядят в душу, сторожат убитую любовь. Она не прожила святую жизнь. Отдавалась безнадежно жарко и сразу остывала.

Льдисто-серые глаза не упрекали ее, обреченно смотрели мимо, а потом опять прямо в сердце.

...К старухе подошел участковый милиционер:

– Вставайте, Раиса Полиновна! Стыдно вам так... Столько наград... Вставайте.

– Да, голубчик! Да! Помоги! Толстый у тебя язык, голубчик! Лариса я... Аполлинарьевна. Запомни, голубчик. Давно меня знаешь, а запомнить не можешь, – упрекала она его, отирая ладонями вьевшиеся в морщины слезы, размазывая помаду. – Прости, голубчик! Домой тороплюсь. Там меня Лейтенант ждет не дождется. А я, старая, пьяница... Голодный он, голубчик. Сидит под замком.

Участковый на почтительном расстоянии следовал за ней, сопровождал. Его уже не раз предупреждали в горвоенкомате: «Не позволяй ей валяться. Заслуженный как-никак человек. Война доканывает ее».

Вот и домик, скорее хибара. Никакого замка нет. Входи любой, бери, что надо. Да брать нечего.

Старуха резким движением распахнула дверь. От окна прыгнул ей под ноги черный кот с огромными звездами глаз, радостно замурлыкал, требуя внимания и любви.

– Лейтенант, милый! Соскучился! – она присела перед ним на корточки, совершенно протрезвев. Он положил лапы на ее худые, костистые плечи, любовно коснулся усатой выразительной мордой ее морщинистых щек. Она гладила его, улыбаясь. – Прости, Лейтенант! Молока я тебе не принесла и хлебушка не принесла. Фу! – она дунула на ладонь. – Улетели денежки.

А кот все мурлыкал, словно успокаивал ее: «Проживем» ...

СОЛДАТАМ БЕЛОРЕЦКОГО ПОЛКА

Свистит на станции «Кукушка»,
И бабы горько голоса.
Увозит в стареньких теплушках
«Кукушка» будущих солдат.

Последней взвизгнула гармошка:
Прощай, край дедов и отцов.
Война уже в твои окошки
Глядит глазами первых вдов.

Меж белорусских полустанков
Пылали хлебные поля.
С одной винтовкой против танков
Стоял в заслоне мой земляк.

Стоял упорно, бился насмерть –
Земля корёжилась в крови, –
Стоял солдат во имя счастья,
Во имя мира и любви.

Не расплескать всей горькой чаши
И боль утрат не превозмочь.
Пусть соловьи во славу павших
Весной грохочут во всю мочь.

ФЕВРАЛЬСКИЙ ВАЛЬС

Снова февральский вальс
Нынче звучит для нас,
И на плечах твоих
Руки мои лежат.
Музыка для двоих,
Кружатся звезды в такт...
Вальс. Мы танцуем вальс,
Мой дорогой солдат.
В пороховом дыму
Грозных военных лет
Знали мы песню одну,
Верили в мирный свет.
Есть в череде разлук
Встречи желанный час.
Счастье выводит в круг
Добрый февральский вальс.

Время летит стрелой,
Были Афган, Чечня.
Выжили мы с тобой,
Вырвались из огня,
Музыка для двоих
Столько звучала лет.
А на погонах твоих –
Слава былых побед!
Нынче февральский вальс,
Праздничных звезд полет.
Наша с тобой судьба –
Мирного неба свод.
Осень с весной слилась,
Смолк грозовой набат.
Вальс. Мы танцуем вальс,
Мой дорогой солдат.

9 МАЯ

Надломилась гвоздика в руке у девчонки.
Перед Вечным огнем – строй бывалых солдат.
Вдовы горестной кучкой застыли в сторонке.
Со слезою и солнца приветливый взгляд.
День Победы!
На празднично реющих флагах –
Боль и радость страны, победившей в войне.
Трели к небу возносит пичужья ватага
На счастливой и мирной волне.
Слава всем, кто с боями дошел до Рейхстага...
Слава, вечная память всем, павшим в боях...
Слава нашему воину, крепко в руках
Держит нынче он древко Победного стяга.



3. НЕ ГРУСТИ, МОЕ ОКНО...

Тихой странницей, послушницей
Солнца, ветра и дождя
Я пойду по летней улице
Вдоль России, не кружа
По околицам безверия,
По задворкам суеты.
Я легко идти намерена,
Где немятые цветы,
Где трава еще не кошена
Ни грозою, ни косой,
Где недобрыми подошвами
Не умят покров земной
И лежат поля ухожены.
Жаворонка легкий звон
Мне навеет дни погожие,
Прибыль блага – не урон.
Неужели судьбой обещано? –
Возвернусь, наплачусь влать:
Жаворонок – пташка певчая
На Руси перевелась.

ВОСХОЖДЕНИЕ

Ступенька – детство, ступенька – юность,
Еще фигуре чужда сутулость,
Еще равны все в вопросах счастья,
Еще не давит на ум начальство,
Еще нет нужных, еще нет лишних,
Ступени – выше, ступени – ниже.

Нина Зими́на

Когда же юность за перевалом,
Ступень бывает и пьедесталом:
Венок лавровый – на лоб высокий,
На лобик узкий – пучок осоки, –
По Сеньке шапка, как говорится.
Один гордится, другой стыдится.
Куда спокойней быть в середине,
Пятном неброским во всей картине:
Не мает совесть, не гложет зависть,
На что способен, то и досталось.
Ступенька – выше, ступенька – ниже.
Кто в жизни нужный, а кто в ней лишний,
Кто самый главный, а кто лишь средний,
Судить виднее уже с последней,
С той роковой, золотой ступени.

ЭХО ГЛАСНОСТИ

Думы, вы думы...
Вопросы мучительны.
Где подходящий ответ? –
Как же случилось, что идола чтили мы
Сорок без малого лет.
Хлопали дружно в ладони и весело
Слали приветы с трибун.
А в это время за дальними весями
Волки прокрались в табун.
Стадо металось.
А волки матерые
Рвали хребты жожакам.
Красное время.
Время, которое
Черным представилось нам.
Где же пастушьи глаза?

На берегу Белой

Аль не видели
Эту лихую беду?
Вместо ружья пастухам тогда выдали,
Будто бы на смех, дуду.
Сладко они свиристели, заученно
Там, у подножья горы.
Ну а теперь, видно, совесть замучила –
Точат, острят топоры,
Целятся в прошлый день,
Раня день нынешний.
Раны кому бинтовать?
Где идеалы? Ликуют барышники.
Выдержать как? Устоять?
Волки в урманах еще не повывелись,
Воют порою взхлеб.
Эй, пастухи!
Где же меткие выстрелы
В серый озлобленный лоб?

Правда, матушка Правда! К тебе испокон
Устремлялись искатели. Все – на поклон.

Но ведет к тебе столько условных дорог,
И далек, и высок твой желанный порог.

Говорят, у тебя два несхожих лица,
Два венца, два кольца, поясок в два конца.

Если ловок истец и проворна рука,
Если верный ухватит конец пояса,

Чтобы узел на нем развязать непростой,
Он добудет себе твой венец золотой.

А другому достанется черный – тюхтя
Тот другой иль доверчивый, словно дитя.

А случилось: кольцо за кольцо – кандалы.
Ты слыхала ль суровую песнь Колымы?

Говорят, ты страдалица, как и мы все,
Мяли, били тебя, твой топтали посев.

И не раз ты сдавалась на милость врагам,
И недобрым и добрым молились богам

За сынов и за пасынков. Как различить,
Кто есть кто? – чтобы вновь справедливою слыть.

Каждый жаждет добыть справедливость свою
Тихой сапой, ползком иль в открытом бою.

Бойся, Правда, тихони – приветствуй бойца.
Не жалея для него золотого венца.

Чти наивных, доверчивых. Может, они
Тебе больше горластых, орластых сродни.

Правда, Матушка Правда! Молю: сделай так,
Чтобы стала дорога к тебе коротка.

И не бойся – откройся. Двулика? – так что ж!
Неужели второе лицо твое – ложь?

ЗОЛОТОЕ ПЕРО – НЕ МОЁ

Золотое перо – не мое,
Никогда не была я жар-птицей,
А всего лишь весёлой синицей,
 Что бесхитростно песни поёт,
День когда начинается новый.
Не гонялись за мной птицеловы,
 И не зарилось дурачьё.
Мелковата, на вид неказиста,
Не люблю подголосков со свистом,
 Славлю вольное птичье житьё.
Песнь – желанье моё и веленье.
Хоть, как прежде, в цене оперенье,
 Золотое перо – не моё.

Дай дотронусь до тебя, удача! –
Холодна ты или горяча?
Почему одних ласкаешь алчно,
А других сечешь ты без меча?
И летят надежды, будто с плахи
Головы невинных. Как же так?
Иль один рождается в рубахе,
А другой – поистине голяк?
Почему любовь твоя незряча
И не равнозначна – почему?
Дай дотронусь до тебя, удача,
Может быть, себя чуть-чуть пойму.

Нина Зими́на

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ «ЧЕРНОГО ВОРОНА»

*«Ты не вейся, черный ворон»
(Из народной песни)*

Снег растет молочной пеной,
Вязнет свет в стерильной мгле.
В чистоте благословенной
Тайна жизни мнится мне.

Тишина. Услышать можно
Шепот вечности мирской.
Что ж ты, ворон, – дрожь по коже,
Каркаешь над головой?

Дам тебе я хлебных зерен.
Для гнезда – соломы пук,
Не черти крылами, ворон,
Надо мною черный круг,

Не пророчь, шальная птица,
Мертвый день, захлеб крича, –
Я хочу еще умыться
Из весеннего ручья.

Барыня-сударыня! –
Бусы милым дарены,
Сине польмя – глаза,
В узел стянута коса,
Круглый вещий говорок
Да веселый каблучок
Половицы дробью жжет, –
Много радостных хлопот.

Мужем барыня красна,
Сыном, дочкою ясна,
И желанна и добра,
Словно солнышко с утра.
У нее колечко есть –
Красота, Любовь и Честь.
А укатится колечко,
Прыснув с чистого крылечка,
В людном мире сгинет след –
Опустеет в окнах свет.
Ах, ты барыня-растяпа,
Дорога теперь расплата.
Ах, сударыня-ворона,
То колечко – что корона,
Крепь счастливого венца.
Не теряй того кольца!

СЛЕПОЙ ДОЖДЬ

«Дождик, дождик, пуще»

Дождь при солнце, счастливый дождь.
Капли-ниточки. Нежность. Звонкость.
Первой страсти святую дрожь
Прячет в сердце своем девчонка.
Колокольчатый жаркий смех –
Рвется тайна ее наружу.
Осужденье – великий грех.
Дождик. Дождик тревожит душу.
Он по солнцу идет-поет
Из лазури, а не из тучи.
Капли сладкие. Капли – мед.
Что на свете бывает лучше!

Нина Зими́на

В нем беспечность и чистота...
Этот дождик, прозрачно-синий,
Мне припомнился неспроста
В пору долгих осенних ливней.

Отринув дней живую суету,
Я ухожу порою в пустоту,
Предполагая, что готовит завтра,
Тасую карты прошлого азартно:
Авось, в раскладке старого найду,
В чем проигрыш, кем ставка моя бита,
Кто завещал мне новые обиды,
Кто напророчил радость, кто – беду.
Тузы, валеты, пиковые дамы,
И хлопоты пустые, и обманы,
И жесты благородных королей,
Метанье духа между двух огней:
Какой – сильнее, а какой – добрее.
Но выходило: сердце – на распыл,
А ты уже тогда меня любил:
Чем ближе к нашей встрече, тем вернее.
Так почему же тянет пустота? –
Иль ты теперь не тот, иль я – не та...

В твоих словах – тоска,
В твоих глазах – тоска,
Как черный флаг души,
Истерзанной, но доброй.
Ужель беда твоя, как дуло у виска?
И отводить его,
Хоть пробуй, хоть не пробуй.

На берегу Белой

О, если б силу мне,
О, если б волю мне,
Я обовью тебя
Тревожными руками:
И сразу прочь печаль,
Как снега по весне,
Согреется душа,
Как поле под лучами.
Не я с тобой иду,
И не моя рука
Тебе опора на стезе неторной.
Вот потому тоска,
В твоих глазах тоска,
Как черный флаг души,
Истерзанной, но доброй.

ДВА ДОЖДЯ

Дождь.
Шепчется с листвою дождь,
Уставшей под июльским зноем.
Дождь в чем-то на врача похож,
Когда целительной рукою
Тот прикасается ко лбу,
Считает токи на запястье...
Безоговорочно судьбу
Мы подчиняем доброй власти.
Дождь урожайный.
Дождь грибной.
Дождь – утоление долгой жажды.
Мы были счастливы с тобой
Вот под таким дождем однажды.
Совсем другой сентябрьский дождь.

Нина Зими́на

Капризно сеет днем и ночью,
И пробирает душу дрожь
Под стоны жести водосточной.
Уже засолены грибы,
В подполье ссыпана картошка.
Затихли звуки молотьбы,
Закрыто накрепко окошко.
Возврата нет в июльский зной,
Когда врачует дождь грибной.

Убери календарь,
Занавесь зеркала.
Мой веселый январь
Закусил удила
И пошел круто вспять.
Крепче, крепче держись.
Дни иль годы считать?
Мерить радостью жизнь? –
Если выйдет судьба
До конца быть вдвоем,
Пусть в глазах у тебя –
Отраженье мое,
И тревога, и грусть,
И счастливый покой.
Я проснусь – погляжусь:
Я любима тобой.

В моей душе растет тоска,
Как облако осеннее,
А сквозь него – лучей оскал:
Последнее... Последнее...

Весна не распахнет мне дверь
На поле пестроцветное.
Ах, что целуешь ты теперь
Мне губы безответные.
Очарованье дней былых
Растаяло, рассеялось.
В глазах, когда-то голубых, –
Поблекшее, осеннее.
Но ты веди меня к огню,
Быть может, и воспряну я.
Тебя ни в чем я не виню,
А только дни багряные.
Опалый лист над головой –
Кружит конца пророчество.
Ты у огня побудь со мной:
Боюсь я одиночества.

Нездешний мой сон:
Два крыла – два огня
Сквозь смех и сквозь стон
Выносят меня
Из нынешних дней
Ближе к юной заре,
О, время! Не вей
Мне венок в декабре
Из майских цветов –
Не к лицу мне они.
Я не из святош,
Я скорее сродни
Веселому ветру,
Скользящим лучам.
Но майского цвету
Не сыпь мне к ногам,

Лишь радости вешней
Преддверье раскрой,
Во сне я безгрешно
Целуюсь с зарей.

Не грусти, моё окно,
Что сегодня так темно,
Потеряли звёзды стёжку,
Заплутались в темноте.
Месяц осветлил окошки,
Но совсем не те, не те, –
В них и так всё ясно, просто,
Там не знают буден постных,
Пьют, едят и любят всласть,
Там своя над светом власть.

Не грусти, моё окно,
Что уже давным-давно
Ходят мимо лишь чужие,
А свои – суди их Бог –
Иль боятся, иль забыли,
Как ступить на мой порог,
Где беда и шьёт, и вяжет
Мне наряд из грубой пряжи,
Нынче – этот, завтра – тот,
Трудится который год.

Не грусти, моё окно,
Нам с тобою всё одно:
Сто соблазнов – сто запретов.
Сто желаний – сто преград,
В дни затмений – жажда света,
Ожидание наград

На берегу Белой

За бессрочное терпенье,
А в итоге утешенье:
Будь довольна тем, что есть,
Мир в окно не втиснешь весь.

Не грусти, моё окно.
Видишь: плещется вино,
Кровь Христа в сосуде вечном –
Ярость муки, жаль утрат.
И поблёскивают свечи,
Отражая звездопад.
Сколько звёзд уже упало,
За чертой земли пропало.
Что ж, нальём за упокой,
За короткий путь земной,
За любовь, за то, что живы.
Из всей мочи тянем жилы,
Чтоб сверкнуть хотя бы искрой
Над путиной жизни быстрой.

Не грусти, моё окно,
Нам другое не дано.

МОЙ САД

Черёмуховый сад,
Прими меня в себя,
В твой рай, в твой белый ад,
Спасая и губя.
Кружение весны –
Воскресшая любовь,
До первой зорьки сны
И опасений новь:
Ужели мой рассвет

И короток, и тих,
Как нежный первоцвет,
Завянет, отлетит?
Сердитый майский гром
Над садом вдруг прошёл,
Как будто топором
Расхряпал каждый ствол.
Метель цветов в саду –
Смятение души.
Я в прошлый день уйду,
А ты меня ищи,
Чтоб возвратить назад
И радость, и покой,
Прийти в счастливый сад
Нам будущей весной.

БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ

На заре взмывает в небо птица –
Белый голубь, легких два крыла,
Новый день из-за горы курится,
Предваряя добрые дела.
Белый голубь – радости предвестник
Кружит, забирая высь крылом.
Написать бы мне о счастье песню
Голубиным тоненьким пером,
Слог весёлый, ясные созвучья
Слить в одно – пой, осветляй лицо.
Белый голубь, пробивая тучи,
На моё опустится крыльцо.
Он рассвет со мною вместе встретит,
О, надежда, всё, чем мы живём,
Даже если к нам в окошко метит
Молния, рождающая гром.

1990 год

Колесо истории катится вперёд.
Лошадь крутобокую запрягает год.
Цокают подковы – рысь или аллюр,
В состязаниях века самый сложный тур:
Честь или бесчестье? Радость или боль?
Вечное терпенье или славный бой
За добро, за благо мирных светлых зорь?
К чёрту или к Богу обращённый взор?
Кто с кнутом возницы, кто простой седок?
Которая прямее среди всех дорог? –
Множество загадок. Как ответ найти?
Цокают подковы – Новый год в пути,
Добрая лошадка, неизменный друг,
К финишу столетья на последний круг
Вывези нас с миром, хоть и тяжек воз
И крута дорога до счастливых звёзд!

Кобылица – очи-пламя,
Белогривица!
В чём резвишься нынче стане?
С кем счастливишься?
Где же русское раздолье,
Край от края – не видать,
Рожь кустистая во поле,
Хлеба вволю – благодать,
Квас ядрёный – дух хмельной?
Где наездник твой лихой?

Нина Зими́на

Рожь устала колоситься –
Осыпается.
Где же пахарь, кобылица? –
Отсыпается.
Бурый холмик под копытом.
Что ж ты гривой ветер бьёшь?
Иль тоскуешь по убитым? –
Скоро внове сеять рожь.
Дух кровавый от земли.
Родина, благослови
На терпенье иль прозренье!
Кто сегодня зорю бьёт?
Чьё безумье или гений
Нам ворота распахнёт?

Кто седло готовит, шпоры,
Плеть попутную,
А на очи-пламя – шоры,
Упряжь трудную?
На дорогах правит смута,
Пустота – на небесах,
В адидасовки обуто
Чванство пляшет на костях.
Бьётся в судорогах рок,
Где Европа – где Восток?
А Россия где? – Забыта.
Вместе с пахарем убита...
О, восстань, земля, из праха –
Есть у пахаря сын пахарь!

Наше время с европейским лоском:
Макияж, наряд от кутюрье,
Имидж зачастую не по росту.
Один – босс, другой – его курьер.

Простота ушла из обихода,
В мыслях тоже европейский стиль,
И картинки жизни из народа –
Только историческая быль.

Пятистенный дом, крыльцо резное,
Примулы букетом на окне,
Стол накрыт скатеркой кружевной,
Фотоснимки в рамках на стене.

А в святом углу под образами –
Белоснежный вышитый рушник,
По краям куст розы с петухами...
Тишина в доме, любви родник.

Черпай из него – не убывает
Благодать для страждущей души.
У крыльца Дружок хвостом виляет.
Видя, как хозяин в дом спешит

В кирзачах, в рубахе нараспашку,
От земли и неба его стать.
А хозяйка, ясной зорьки краше,
Вышла на крыльцо его встречать.

В сенцах притулился рукомойник
С голубой колодезной водой.

Нина Зими́на

Убывает солнечная знойность
Под поющей ледяной струей...

Кто-то скажет: быт сермяжный это,
Nostalgі по древней худобе,
Темка для тоскующих поэтов
По печной, с витым дымком трубе,

На дворе космическая эра,
И компьютер в дело запряжен,
Лишь в него, как в Бога, нынче вера,
И любовью тоже правит он.

Соглашусь... И все-таки сознайтесь,
Европейским меркам вопреки,
Чище, проще жили, без зазнайства,
И в любви щедрее и вернее
Были наши с вами старики.

Старый век держит путь на закат.
На дорогах мирских лихолетье.
Разыгралась метель, снежной плетью
Хлещет, свищет, как сто лет назад.

Там прабабка – крестьянская дева
В ожиданье крещенских забав,
На холодное небо глядела:
Что Бог ссудит – и будет судьба.

А судьба – расторопная сватья
Все наметит и выполнит в срок:
В один год – подвенечное платье,
А в другой – черный вдовый платок.

Один год – урожайный и сытый,
А в другой – хоть на паперть с сумой.
Выжигала созревшее жито
И война до полоски одной.

И салют был, и горькие вести.
Нет и нынче лекарств от утрат.
Покорежились звезды из жести
На могилах погибших солдат.

Имена позабыты героев,
Из руин поднимавших страну.
Годы надо, чтоб счастье построить,
А разрушить – неделю одну.

Нынче вольно бесчинствуют бесы,
Новый русский – силач на крови,
Под колесами их «мерседесов»
Все, что Бог сотворил по любви.

У судьбы в арсенале безвинным
Часто пуля в висок – и конец.
Кто-то бедствует, кто-то гнет спину,
А в итоге – суровый венец.

А в итоге – душа на заклании,
Суд небес иль сама пустота.
Нынче всем нам нужно покаяние,
Коль немислима тяжесть креста.

И в двухтысячный праздник крещенский
Из ворот из каких и куда
Упадет башмачок с ножки женской?
Там свет-радость иль снова беда?

НА РАЗЪЕЗДЕ СО ВРЕМЕНЕМ

Паровозик-пыхтун
 под названьем «Кукушка» ...
Чья-то память мелькнула
 на дальней опушке.
Чья-то боль ускользает
 по давней реке.
Чье-то счастье по шпалам
 трусит налегке
От погасшей зари,
 где осталась стоянка,
До разъезда со временем
 до полустанка.
В том вагонном окошке
 застыло бывшее –
Трижды клятвое кем-то
 и трижды святое.
А вот в этом –
 сегодняшний день многозвонный.
Паровозик свистит
 вперемешку со стоном
И по узкоколейке
 везет доброй ношей
В новый век
 невозвратное, милое прошлое...



4. ЗАЙЧИК СОЛНЕЧНЫЙ НА ЛАДОНИ

ПОЖЕЛАНИЕ САМОЙ СЕБЕ

Не отрекайся от ветра холодного,
Не отрекайся от солнца горячего,
Не отрекайся от гостя голодного,
Не отрекайся от друга незрячего.
Нынче и завтра – горячие головы.
Мысли бредовые – адово эхо.
Хочется петь – в горле плавится олово,
И не до песен уже, не до смеха.
Дверь – на крючок. На крючок – и желание.
Час отречения – опустошение.
Не отрекайся... коль даже ужалили
В самое сердце. В прощенье – спасение.

ЗА ДОМОМ

За домом, где юные сны отцвели,
В черемухе спрятан овраг.
Усердствует память мосточки стелить
К заветным окошкам. А шаг
То легок, то труден, то вовсе незрим
В тумане различных годов.
Родное – теряем, чужое – храним
Под тяжестью давних замков.
Не выпала доля в миру преуспеть,
Вхожу в старый дом, приустав,

А в красном углу, где иконам светлеть,
Распяла себя пустота.
Паду на колени в святой тишине
С покорностью вольной рабы –
И лик светозарный почудится мне,
В деснице – мой свиток судьбы.
Что прожито – в белой пороше уже,
Дурманной черемухи след.
А черные ягоды на рубеже
Прошедших и будущих лет.
Успех и утехи – растроченный клад,
Цена ему – с дыркой пятак.
Плоды откровенья под зрелый закат
Осыпятся в вечный овраг.
Листва облетит, от невзгод побурев,
От ложно пылающих чувств.
Смешон или жалок на новой заре
Остывшей черемухи куст?

Искатель вечной истины, поверь:
День завтрашний в заклеенном конверте.
Средь жизненных находок и потерь
Одна лишь истинна дорога – к смерти.
Все остальное ложь, игра страстей
По правилам жестокости, бесчестья,
И побеждает тот, кто всех сильнее
В желанье оттеснить или править мезью.
Я – слабенький росточек от зерна,
Уроненного сверху в твердь земную,
Ветрами всех мастей иссечена,
А все еще расту и протестую.
От капельки любовного дождя
Цвету опять дурманно и ничтожно.

Мне золотой весны уже не ждать,
А осень очень на конец похожа,
Однако же конверт... Хранит печать,
Предначертанье взлета и паденья,
Шаг в пустоту, а может, в благодать.
И то, и это – все приемлю.

ПОЭТУ XIX ВЕКА

На расстоянье двух веков
Мое и Ваше пребыванье
В плену любви, в плену стихов.
И то, и это оправданье
Пути земного в мир иной.
Грехи? Недолгое затменье
Рассудка. В омут с головой –
Какая прелесть! Но сомненья
Всех аки по суху ведут
К черте святого очищенья.
Чтоб там не сдрейфить, надо тут
Принять огнем, водой крещенье.
Стихи же – праздничный салют
И боль, пред небом откровенье.

На острове Майорка в тиши монастыря
Блистала для Шопена последняя заря.
Нет суеты парижской. Сквозь солнечный туман
Улыбка – как подарок – Авроры Дюдеван.
Страсть, умиротворенье – в грозу цветущий сад.
Перо свое забросила кипучая Жорж Санд.
Рояль под Божьим сводом. Бег вечного луча
По клавишам, а в звуках – и радость, и печаль.

Нина Зими́на

Еще играет в жилах любви земной вино,
А небо предрешило вальс «До диез минор».
Сквозь нарастанье боли – волнующий призыв,
Колоратура взлета, отчаянья низы.
Трудна победа духа. Сильно желанье жить.
В мелодии заминка, мелодия дрожит.
Вот-вот угаснут звуки. О, молодость! – прощай...
Аврора поправляет на милом горностае.
Ее король – маэстро. Ему – оваций шквал,
Ему весь мир вселенский – большой концертный зал.
А здесь он, словно мальчик, готов лишь ей играть.
Но пала тень косая на нотную тетрадь...
На острове Майорка померкла бирюза
В тот час, когда закрылись навек его глаза.
Аврора... Что Аврора?! Она опять Жорж Санд.
Любовь ушла. Остался писательский талант.

БАНАЛЬНЫЙ ЭТЮД

*«Я имел подлость убить сегодня эту чайку...»
А. П. Чехов.*

Небольшая усадьба.
От парадного входа
По пригорку тропинка к озерной тиши.
Солнце в тучу зашло – к перемене погоды,
Вновь зарядят дожди в деревенской глуши.
А пока благодать.
У мольберта художник.
Синеглазая девушка тропкой идет, не спеша
Меж берез золотых.
И возможно
Здесь блаженство своё обрела мировая душа.

На берегу Белой

Воздух дышит любовью, согласием мыслей.
Вдохновенно художник девичий портрет пишет в рост.
Вдруг счастливую высь разломил чей-то выстрел,
Чайка с неба упала и кровью забрызгала холст.
Снова – третий, где двое.
Насмарку портрет.
Для рассказа или пьесы – всего лишь сюжет.

Зайчик солнечный на ладони –
Небожитель с земной пропиской!
Утомился он от погони
Холодов и ветров. Мне близко
Его нежное трепетанье
И надежда на теплый отклик.
Жизнь сурово меняет грани:
То привет, то суровый окрик,
То простор, то глухие стены –
Не пробьешь ни лбом, ни тараном.
Рядом с преданностью измена,
Солнце ясное за туманом.
Одинокое окаянство
Средь толпы – ходоков за счастьем.
Еще царствует самозванство,
Еще правят шальные страсти.
А душа, словно отрок сирый,
Ищет крова, устав от битвы
За свое представленье в мире,
Во спасенье творит молитву,
И ей хочется покачаться
На ладонях любви ответной...
Может, теплой весна удастся,
Может, ласковым выйдет лето.

Прости меня, мой хороший,
Коль можешь... прости!
Я – золотая пороша
Из зимней горсти...

Мне нравится колким смехом
Тревожить твой сон.
Откликнись встревоженным эхом
Со всех четырех сторон.

Осыплю тебя дарами
Ядреных морозных зорь.
Твой вензель возьму в орнамент
Безгрешных причуд. Не спорь!

С собою не спорь! Поверь мне:
Скоро загладит спор
Время... мудрое время –
Посланник с нездешних гор.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ НА ОДНУ ТЕМУ

1.

Безумствуя, тебя люблю.
Наивно хмурый взгляд ловлю
И жду, когда он потеплеет.
Шумит кленовая аллея,
Подарок солнцу – смех ветвей,
Разбуженных весенним ветром.

Взволнованное птичье ретро
Звучит новее и звончей.
По лужам шлепает малыш –
Моя надежда расшалилась.
Меняют боги гнев на милость,
А ты все хмуришься, молчишь.
Блажен восставший ото сна,
Его приветствует Весна,
А в ней – безумство и наивность,
Влюбленной грешницы невинность.

2.

От себя уйти ... Но куда?
На кудыкину гору разве.
Там не лес растет – лебеда
И цветком никудышным дразнит.

Наломаю-ка я ветвей
И костер разведу до неба,
Не огонь пойдет – суховой,
Превращая бывшее в небыль.

Он прожжет, как кафтан, насквозь
Никудышную мою душу.
Ей с твоей невозможно врозь,
А быть вместе – того еще хуже.

Разбросаю я угольки,
Что под пепельным тлеют фетром.
Только вот от забвенья реки
Так и тянет горячим ветром.

В трагедии есть паузы.
Судьба
С холодной объективностью актрисы
Глядится в зеркало, чтоб оценить себя
На сцене вечности.
Кулисы
Еще хранят движение меча
И брызги крови на своем подоле.
А кто сегодня в роли палача?
Он отроду такой иль поневоле?
А жертва кто?
И чем грешна душа?
Иль может, тело с ней живет в разладе,
И семь грехов растление вершат,
Одoleвая душу? С чего ради
Замешкалась Судьба? –
Иль странен лик,
Испорченный штрихами злого ветра?
Клубок змеиный у нее парик,
Взят напрокат у сатанина метра.
Ох, и видок. Запущено копье –
И зеркало в осколки превратилось.
У пауз преимущество свое:
Судьба тогда меняет гнев на милость.

Давай поговорим с тобой, Апрель!
О чем еще? Конечно, о погоде.
Голубоглазым ты слывешь в народе,
В твоих руках волшебная свирель.
Сыграй мне песню. Душу отогрей.
Зима сегодня выдалась суровой.
Ушла любовь, не проронив ни слова,

И зябко мне средь скучных январей.
Они ко мне приходят, как на бал,
В неоспоримо чистых белых фраках,
В застегнутых под горлышко рубахах.
Сплошной сугроб. В нем новый день застрял.
Пусть выведет на свет его свирель,
Расчистит там, где было непролазно.
А мой любимый, знаешь ли, Апрель,
Он, как и ты, чудак голубоглазый.
Но вот свирели нет в его руках.
А путь ко мне в немислимых снегах.

Опьянившись запахом малины,
Прячет август жаркие глаза.
В венчике Марии-Магдалины
Тихо увядает бирюза.
Сыплет дождь из лебединой тучи,
Шепчет мне прощальные слова.
Высока прижизненная круча,
Где растет былинная трава.
Сорвала все, собрала в охапку,
Серый цвет заплелся в голубой.
Только не разгадана загадка:
Почему мы встретились с тобой?
Солнце тебя вывело, иль месяц
Указал, где грустное окно?
Голос твой заполнил мои песни,
Как художник полнит полотно.
Невзначай рассыпалась охапка, –
Все, что пелось до тебя, не жаль.
Август дышит горячо и сладко,
Но сужает золотую даль.

Нина Зими́на

Скоро-скоро дни, расправив крылья,
Унесут счастливое тепло.
Небыль перепутается с былью,
Первой встречи зачеркнув число;
Лишь одно останется в помине –
Август в непредвиденных цветах.
Не растает княжеское имя
У пурги залетной на устах.

Тихий вечер, как в начале
Сотворения Земли.
Утоли мои печали,
Боже Правый, утоли.

Тают свечи покаянья
Перед образом святым.
Все мои земные знанья
Перед небом – только дым.

По кругам иду не новым,
Пыл заката возлюбя,
Я ищу простое слово,
Чтобы выразить себя.

Невечерний свет в тумане,
Час прозренья не пробил.
Мое сердце на закланье
Всепрощающей любви.

Были бури – свод качали,
Были грозы – отцвели.
Утоли мои печали,
Боже Правый, утоли.

СЕМЬ СОНЕТОВ

На карте жизненной моей
Кто начертал земные версты?
К любви верста всего длинней
Через беду, через погосты
На голубой счастливый остров
В потоке сумасшедших дней.
Вино любви я пью наперстком
Среди изысканных гостей.
На пир и званых и незваных
К самой Венере. Но звезда
Меняет путь свой, как всегда.
Пир утихает. Как ни странно,
Иду назад, к себе самой,
Богачка с нищенской сумой.

Я – птичка-певичка на майском кусту
Закатного цвета,
Чирикаю радостно в пустоту
На кромке рассвета,
Дневную презрев суету.
Я жду золотистого жаркого лета,
Невянку к поющему рту,
Хотя бы с обложки сонета,
Хочу поднести. Пусть дурман-аромат
Мне голову кружит и тешит надежду.
Земля. Свод небесный. Я – между.
Стихия фантазий – мой сад.
В нем ты – мой придуманный друг,
Как солнце с ладони доверчивых рук.

Средь лугов отцветающих след свой ищу.
Не сужу обманувших я и не ропщу
На неверность своих, на коварство чужих.
Отцвело мое лето в глазах голубых.
Не о том я сегодня жалею, грущу.
Соловей – небывалых рассветов вещун –
Отсвистал и отщелкал затейливый стих,
До весенних соблазнов, как умер, затих.
От его звонких песен я шла наугад
На счастливый зенит, а пришла на закат
В том венке, что наивно сплетала заря,
Незабудки вкрапляя в ромашковый зной.
Позавяли цветы. Не поспорить с судьбой,
Не сложить первоцвет у ворот сентября.

В душе моей и смута и раздор.
О, рассуди же, Боже Правый!
Гнездо под сердцем свил лукавый –
Смутьян, насильник, первый вор.
Он изощрялся с давних пор,
Зачеркивал коварно главы.
Где венценосно, величаво
Любовь под солнечный шатер
Селила веру в постоянство,
Взволнованно слагала стансы
Беспечности своей. Теперь
В шатер забита крепко дверь,
А я ломлюсь, схожу с ума.
Лукавый виноват? Иль я сама?

Иду по последнему кругу.
Небесный трубач в хриплый рог
Трубит величальную песнь-эпилог,
А круг превращается в угол,
В тупик. Кто окажет услугу
И руку подаст, чтоб шагнуть за порог,
Где Божьего света лучится исток,
Где путь по извечному лугу
К высотам, что грезились мне
На первых шагах? О, иллюзии грешницы,
Которой прощенье, как светоч, мерещится
При полной и ясной луне.
А на крыле тонкобокого месяца
Хочется только повеситься.

Мой скоролет уже на старте.
Пожитки собираю я
В те запредельные края,
Что не означены на карте.
Мой скоролет уже на старте.
На чем-то празднике рояль
Собачий вальс играет. Жаль,
Что пианист талант растратил.
Семь нот. Кому – собачий вздор,
Другим – шопеновский минор,
Романса жаркое дыханье
Иль рок-н-ролл во весь опор.
А мне Чайковского признание –
О вечном страстный разговор.

СОНЕТ ЛУНЕ

Волшебница небесного простора,
Раздвинув занавес ветвей,
Окинула туманным взором
Мой стол и стену, а на ней –
Портрет давнишний, на котором
Я в пору юности своей
Улыбчиво гляжу на гору
Лет предстоящих и быстрей
Хочу взобраться на вершину,
Где правят мудрость и любовь.
Да вот карабкаюсь поныне.
Взойдя на пик, срываюсь вновь.
Когда в душе нет больше сил,
Луна мне дарит юный пыл.



5. БАБЬЕ ЛЕТО

Бабье лето! Бабье лето –
Серебро иль седина?
Золотистым нежным светом
Женщина освещена.

Сколько Ей – совсем не важно.
У Нее весенний взгляд.
Незабытый день вчерашний
Доброй славою богат.

А душа хранит секреты
Чародейки молодой.
Разыгралось бабье лето.
Лист багряный под ногой.

Как недолог праздник
Золота и света.
Ярким буйством дразнит
Очи бабье лето,
Сладостью желаний,
Горечью разлуки,
Гроздь рябины ранней
Заплетает в звуки
Уходящих сказок
О счастливой доле.
Астры вянут в вазах.
Погрустнело поле
Радостных зачинов.

Кружит лист опавший,
Бабьих слез причина
О любви вчерашней.
Многое забылось,
Многому не сбыться.
В воздухе остылом
Поумолкли птицы.
Над листвою бледной
Лишь дождя шуршанье.
Солнце – напоследок.
Ласка – на прощанье.

Бабье лето. Бабье лето.
Токи радостного света
Из небесного окна.
Даль сентябрьская видна.
В красной радости рябина.
В золотистой паутине
Вязнет свежий ветерок.
Мне не надо ягод впрок
В пудре сахарной, в глазури.
Когда солнышко сощурит
Очи ясные свои,
Гроздь багряную сорви,
Поднеси мне на ладони,
Как царице, что на троне
Ждет внимания царя.
Может, зря.
Намекни, что бабье лето –
Это рама для портрета
Со счастливым блеском глаз,
Любящих не напоказ.

На берегу Белой

Если я в глазах твоих,
Если ты в глазах моих,
Значит – счастье на двоих,
Токи радостного света
Увенчают бабье лето.

Бывает! – хоть это нелепо, –
Сгораю на диком костре
И вновь возрождаюсь из пепла
В своем золотом октябре.

И ты, мой ревнивый мучитель,
Возводишь до неба огонь.
Пора бы уже научиться
Рассудок свой слышать: Не тронь!

Не тронь эти угли, что тлеют,
Не дуй, где пожары цвели...
На огненной той карусели
Высот мы достичь не смогли.

А небо по-прежнему чисто
В холодном раскладе времен.
Мне грезится тихая пристань
И душу врачующий сон.

Давай вскипятим старый чайник
На газовом бледном огне.
Пусть ветер осенний качает
Остывшую ветку в окне.

Нина Зими́на

На высокой горе
Мне бы дом свой построить,
На восток – два оконца,
А два – на закат.
Из весенних лучей
Одеянье простое
Мне б соткать на всю жизнь
И носить без заплат.

Вместе с зорькой младой
Благовестье от Бога
Нерастраченной радостью
Полнило б дом,
И счастливая песня
С молитвенным слогом
Зарождалась в душе
О покое земном.

Только где он, покой?
Мелкой птицей подбитой
Я мечусь.
Под крылом моим легким стрела,
Ядом грешной любви
Наконечник пропитан.
И не вырвать стрелы –
Она в сердце вросла.

Январь-молодчик за окошком выюжит,
Скребется в мой покой, как будто невзначай,
А я пеку пирог из грез на ужин,
Из призрачных надежд завариваю чай.

Остепенилась я, остепенилась,
Земля не уплывает из-под ног,
А как метель в моей душе бесилась,
Крутила вихри, знает только Бог,

Какие розы я растила в стужу,
Вплетая их в метельный перепляс.
Январь-молодчик за окошком кружит,
Но песнь уже заводит не про нас.

Я на помин любви затеплю свечи –
Как хорошо при свете и в тепле...
Ты загляни на огонек под вечер –
Пирог уже готов, чай в чашках на столе.

Милый, я ведь понимаю,
Пробуждаясь поутру,
Что в чужом саду гуляю
И цветы в охапку рву.

Пусть поставят сто заборов,
Сторожей поставят пусть,
Понавешат сто затворов –
Все равно я проберусь.

Выну крылья из комода
И приделаю к душе.
Пусть проклятая погода –
Я в чужом саду уже.

Нина Зими́на

Вьется лунная дорожка
Сквозь цветную благодать.
Я оставлю осторожность –
Воровать так воровать.

Не боюсь хозяйской мести,
Нарушая свят закон.
Мы с тобой ворует вместе,
Пока длится сладкий сон.

Новый день раскроет двери,
Без тебя в него войду...
Может, кто-то свыше верит:
Мы с тобой в своем саду.

В золотые оделась меха
Ночь-распутница, ночь- царица,
Ложе страстное – трон для греха...
И покаешься – не простится.

Ночь-распутница из углов
Выгоняет срамные тени.
Ночь-царица своих рабов
Возвышает до исступленья.

И душа моя вновь вольна
Вознестись до желанной кражи.
На подушке моей луна
Растекается сладко-бражно.

Я жалею себя и кляню
За высокую степень накала

На берегу Белой

И хочу погасить луну,
Чтобы снам моим не мешала.

Если ж ночь золотые меха
Мне подарит вдруг по ошибке,
Зазмеится радость греха,
Потечет по моей улыбке.

Потянусь я к твоим губам,
Полугрешная, полусвятая,
И царица сама, и раба
Между звезд с тобой проплутаю,

Пока день не отхлещет ночь
По щекам, как гулёну-дочь.

Не орлица я по натуре,
Не царица по положению.
После бури на чистой лазури
Я ищу свое отраженье.

Контур крылышек опаленных
То ли бабочки, то ли птахи,
То ли тень скользит затаенно
От руки при прощальном взмахе.

Голова моя – бедолага
Пред судьбой в покорном поклоне.
Шаг вперед и назад полшага.
Я завидую той, в короне.

Той, умершей во мне когда-то,
Беспощадной... Не то, что ныне –

Нина Зими́на

Сердце-рубище все в заплатках.
Не царица я, а рабыня.

В давнем прошлом моя эпоха.
Трон в костер пошел на дрова,
На огне том, когда мне плохо,
Я закаливаю слова.

Ах, как хочется распрямиться,
Покуражиться вдоволь, всласть.
Воскрешаю в себе царицу,
Пусть не всю, но хотя бы часть. —

Над судьбою упиться властью.
Над собою — попытка зря.
Наше бабье хмельное счастье —
Над собою иметь царя.

Дай мне, облачко, белое крылышко,
Что лучом поднебесным вышито,
Силу легкую подари —
Я прорвусь через все январь,
Через святочную метель
В небывалый апрель.

Дай мне, облачко, чистую линию.
Возвращенье любви не отрину я.
О, счастливая высота!
С опаленного стужей куста
Мне на черном крыле не взлететь,
Новых песен не спеть.

На берегу Белой

Дай мне, облачко, радость вешнюю.
Я – земная женщина, грешная.
Вознесусь легко над собой,
Над своей незадачной судьбой.
Ты, кого я вчера ждала,
Не целуй моего крыла,
Взгляд прощальный во след не суровь –
У меня другая любовь.

У нас с тобою разные пути
В земных пределах...
Две разных песни на один мотив
Не переделать,
Две разных жизни не соединить
В одном романе.
Но кто-то протянул живую нить
Меж нами.

Вот опять весенняя распутица.
Солнце набирает высоту.
Белый цвет черемухи распустится.
Черный плод засохнет на кусту.

Лето есть, а есть и лихолетье.
Пылкость душ и смертные грехи.
От любви счастливой будут дети,
От несчастной – песни да стихи.

От первого взгляда
пошел счет годам...
Девятый виток
знойных выплесков в стужу.
Какие бы ветры
ни рвали мне душу,
Мой милый, не бойся,
тебя не предам.

Наощупь крадется
по нашим следам
И метит вперед забежать недоверье.
Гнездо в моем доме
свивают потери.
Мой милый, не бойся,
тебя не предам.

Порой ты стремишься
к иным берегам,
А мой обживают
случайные люди,
И в призрачный праздник,
среди солнечных буден,
Мой милый, не бойся,
тебя не предам.

Нам вряд ли придется
по райским садам
Блуждать...
Злато-яблочко сгнило.
Но зернышко я от него сохранила
Мой милый, не бойся,
тебя не предам.

Сентябрь мой желтый
сентябрь-разлучник,
Блесни улыбкой
из мрачной тучи, –
Пусть безнадежность
утратит силу,
Заголубеют
глаза России,
Воспрянет духом
познавший горе,
Найдет путь верный
завязший в споре,
Любовь проснется,
ростки распустит
Сквозь дождь осенний
и навесь грусти.
Сентябрь-разлучник
с зеленым летом,
Настрой веселый
оставь поэтам, –
Пусть сеют слово
по доброй пашне.
Пустое сердце –
как лист опавший.
Но даже в прахе
сокрыты дрожжи.
Весна тает
под белой кожей
Снегов сыпучих,
морозов синих,
Весна надежды,
весна России.

Аромат диких роз
На холодном ветру истекает.
Мысли снова вразброс:
И со мною такое бывает.
Налетит стылый ветер, развеет покой,
Если солнце закрыто твоею рукой.

Босиком по росяной траве –
Там, в отрочестве.
Беспокойный ветер в голове.
И хохочется.
Распластаться на цветах крестом –
Небо прянишно.
А как сядет солнце за бугром,
Как оглянешься:
Ни росы, ни четкого следа,
Поле жухлое.
Я бежала, иль мои года
В травы рухнули?

В БОЛЬНИЦЕ

Луна - осколком зеркальца.
А вдруг все переменится,
И на больничном полотне
Другие сны приснятся мне.
Весенний радостный поток
И солнца вешнего глоток.
Потом еще, еще, еще –
И я легко сотру со щек
Слезу вчерашних дней суровых,
И под моим небесным сводом

На берегу Белой

Все снова будет хорошо.
Исчезнет ощущение ада,
Что напророчила судьба,
И я в тени земного сада
Найду счастливую себя.
Луна – осколком зеркальца.
И мне наивно верится:
В нем отражение мое,
Грядущих весен бытие.
Мороз на зеркальцедохнул,
Все пеленою затянул,
И на земле снега, снега,
Я среди сугробов залегла,
И холодна моя берлога.
То ль наказание от Бога,
То ль испытание пока.
Ночь. Беспросветность. До утра
Не доплестись. Так будет лучше.
И лишь на кончике пера
Надежда на весенний лучик.

Вновь скудная зима –
Преображенье света.
Земля голым гола –
Ни ласки, ни привета.
Распята тишина
На перекрестье судеб,
Морозная волна,
Обветренные губы,
Осмеянная боль,
Отвергнутая нежность...
Зима у нас с тобой –
Суровое бесснежье.

ГУСИ-ЛЕБЕДИ

Обронили гуси-лебеди серебряную тень,
В моем светлом переулочке погас весенний день.
Притуманилось высокое парадное крыльцо,
Прокричали гуси-лебеди прощальное словцо.

То, что пелось и любилось, под невидимым крылом.
Я счастливую загадку загадаю на потом,
Вересковым легким венчиком смету с крылечка пыль –
То несказанная сказка и несбывшаяся быль.

Улетели гуси-лебеди в неведомую даль.
То, что пелось и любилось, мне теперь совсем не жаль.
На последней на ступенечке заря взыграет вновь.
Посижу с тобой в обнимочку, последняя любовь.

Под напев гармошки старенькой придумаю слова –
Закружится-затуманится от счастья голова.
Возвернутся гуси-лебеди, заплачут под окном.
Разгоню я стаю дикую лазоревым платком.

Заневестилась осинка –
На плечах горит косынка –
Словно изумрудная.
На весеннем бревнышке
Заиграло солнышко
В гусли самогудные.

И по правилам старинным
Начинаются смотрины:
Ах, какая лапушка.
Стройная, пригожая,
С тихой песней схожая! –
Знай девчонок нашенских.

А в соседнем чистом поле
Услыхала злая доля
Песни величальные,
Обернулась вороном,
Раскатала в стороны
Кольца обручальные.

Одинокая судьбина,
Горемычная осина –
Молодость загублена.
Русская сторонушка,
Горе – так до донышка,
Счастье – чуть пригублено.

Отгорело бабье лето.
На судьбу свою не сетуй.
Ой, пора остудная.
На осеннем бревнышке
Отыграло солнышко
В гусли самогудные.

Месяц высветил рога
И поплыл на легких веслах
К неизвестным берегам и меня позвал.
Как просто
Оторваться от себя,

Нина Зимина

От привычного уклада
И лететь, звездой светясь,
В запредельность звездопада.
Чей-то вздох:
«Смотри, во мгле
Скоро звездочка увянет,
И кому-то на земле одиноко очень станет».

Не уходи за горизонт рассвета,
Где прячется недобрый зимний день.
Любви моей продутая карета
Еще скрипит по переулкам лета,
Отбрасывая призрачную тень.

Слова прощанья затаи на завтра.
А наше завтра будет или нет.
Судьба, что конь, коварный и азартный,
Она не знает путеводной карты.
Несет туда, где стерт счастливый след.

Отцеловались утренние зори,
И мне тебя уже не целовать.
Отпели птицы на моем заборе,
Но я еще пою себе на горе,
А может, и на радость... Как тут знать?

Ах, этот март, дразнящий солнцем
И обещанием тепла.
Зимы наскучившая сонность
Уже растаяла. Светла
Рассветов даль. И ветер вешний
Целует пальчики ветвей.

На берегу Белой

И мы распахиваем спешно
Сердца, как шубы. У дверей
Священных праздников лелеем
Надежду на прорыв к теплу.
А март вдруг холодом повеет,
Метель посадит на метлу,
Как ведьму. Небушко – с заплатку,
И ветер – будто пес цепной...
Наш путь земной – мосточек шаткий
Между зимою и весной.

Приговори меня к себе
Назло молве, назло судьбе,
Назло всем завтрашним ветрам
И проклинающим губам.
Приговори меня к себе
Пожизненно иль на неделю,
Пока веселую капелью
Прострочен день, и на трубе
Выводит ветер блюз весенний.
Встань перед небом на колени,
Приговори меня к себе
Назло молве, назло судьбе,
И я раскрою зонт цветной
Над бедолажной головой.
Назло грозе из ниоткуда,
Поверю в солнечное чудо.

Соловей-соловушка щелк да щелк
На заре серебряной утренней,
Обломилась веточка хрупкая,
Соловей-соловушка вдруг замолк.

Нина Зимина

Позавяли листики, и росой
Не полощет мой дружок горлышко.
Высока весны моей горушка,
Поросли тропинки к ней муравой.

Средь еще не хоженных мной дорог
Потерялось жаркое солнышко.
Только соловьиное перышко
Пало легкой памяткой на порог.

Время, как река подо льдом течет.
Ледокол взорвет тишь апрельскую.
Унесут беду воды Бельские,
Под окном соловушка запоет.

Благословите женщину-весну.
Душа её – подснежник на рассвете.
Надежда в лёгкой солнечной карете
В счастливую торопится страну.

Благословите женщину, когда
Ростки удачи в ней распустит лето
И в уголке семейного портрета
Заблещет судьбоносная звезда.

Ах, осень! Время буйной красоты!
Смех той весны, как эхо, в детском смехе,
А дети – и услада, и утеха,
И в вечность устремлённые мечты.

МАЙ

Свечи черёмухи – белое зарево.
Небо – святая святынь.
А по-над цветом соловушки парами.
Радость, меня не покинь.

Время придёт – станут ягоды чёрными,
Солнце растает в руках.
Не разглядеть за небесными шторами
Птиц, что купались в лучах.

И на обочине счастья отцветшего
Семя уронит полынь.
В час одиночества завтрашним вечером,
Радость, меня не покинь.

Я хочу тебе присниться
Легкокрылой белой птицей,
Приручи её, любимый, научи
Клевать зёрнышки с ладошки,
Петь на солнечном окошке,
Пусть порадуются первые лучи.
Если осень постучится
В твою душу чёрной птицей,
Не волнуйся понапрасну, не грусти,
Жёлтый листик закружится,
Превратится вдруг в жар-птицу –
Золотыми станут серые дожди.

Нина Зими́на

Утро выйдет из тумана
На счастливую поляну,
Где цветок-нивянка венчик распустил.
Ты проснёшься, удивлённый,
В мир согласишься законный
И увидишь пару лёгких белых крыл.
Может, чёт, а может, нечет.
Нам во всём судьба перечит,
Запускает не в ту сторону юлу.
Небылицы и былицы,
Много нам во сне что снится.
Птица счастья прилетает наяву.

Умолкли громогласные дрозды
Среди дерев, остались лишь чирики
И на исходе утренней звезды
Клюют, как зёрна, солнечные блики.

Уже дохнула осень холодком
Под крылышки неугомонных пташек,
Они не променяют отчий дом
На те края, где солнце ярче, краше.

Птенцы уже освоили простор,
Им ветер птичьих странствий свет не застит.
Мне по душе их суматошный хор,
В две кратких ноты песенка о счастье.

Из тёмной ночи белых птиц зову,
Крошу на чистый лист слова-приманку.
Себе я утешительно солгу,
А этим птицам – душу наизнанку.

Себя я оправдаю и прощу
За дерзкий шаг по скользкому настилу.
А этих птиц признаньем угощу.
Что на пустое часто трачу силы,

Что очень часто путаю ключи,
Чтоб отомкнуть замок в мир обретений.
И кружат надо мной тогда в ночи
Не птицы белокрылые, а тени.

Чем накормить их? В сердце пустота,
А в строчках боль, отчаянье и ропот
На тяжесть Богом данного креста.
На то, что каменисты к небу тропы.

Я расчищаю путь себе, любя,
Быть может, не того, кто может сбиться.
Немилостива Госпожа Судьба,
В неволе у неё томятся птицы.

Те, с белыми крылами. И мой зов
Теряется в ночных переплетеньях,
И наказаньем кажется любовь,
А муки слова – от неё спасеньем.

На черном фоне – то мой путь земной,
Рисую яркой краской небылицы,
И тут взлетают, кружат надо мной,
Пророчат свет таинственные птицы.

НА СРЕТЕНЬЕ

Игорю Калугину

Февральский день еще хранит покой,
Хотя снега пронизаны лучами,
По-сретенски, с ядерной хрипотцой
Прозрачный воздух свеж и беспечален,
И я хочу, укутавшись в покой,
Уйти в нездешний мир, не хлопнув дверью
Всех прошлых невезений. Мой герой
Помашет шляпой, не поняв потери.

Быть может, мне навстречу выйдет Тот,
Кто голубю с голубкой дарит небо.
Мой одинокий над собой полет
Покажется смешным и чуть нелепым.

Ношу в себе самой земную твердь,
Но к небу взгляд летит произвольно.
Там – голуби... Мне радостно смотреть
И в то же время очень-очень больно.

Пусть мой герой со шляпою в руках
Останется стоять на перекрестье.
Коль выпадет мне быть на небесах,
Я возвращусь к нему счастливой песней.

Отсмеялось бабье лето
На серебряном мосту,
Золоченая карета
Вдаль уносит маяту.

Отсмеялось, как отпелось
На простуженных ветрах,
И рябиновая спелость
Пообмякла на губах.

Очи смеживает сонно
День – повеса из повес,
Но еще целует солнце
Синеву крутых небес.

Ну а ты проходишь мимо
Утихающего дня.
Я прощаюсь с тобой, милый,
Ты ищи весной меня.



6. БЕЗ ТЕБЯ Я, КАК БУДТО ТРАВА БЕЗ ДОЖДЯ...

*СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
НИКОЛАЮ ХУДОВЕКОВУ*

Пройти над пропастью – соблазн,
Не пошатнуться, не разбиться,
В тот берег намертво влюбиться,
Не отводя в испуге глаз
От жёрдочки, как от спасенья.
Уверенность – мой поводырь.
Какая глубь! Какая ширь!
И жизнь – на острие мгновенья.
Тонка жердинка, ох, тонка,
А берег дальний манит-манит.
Когда уверенность обманет,
Схвачусь рукой за облака!

Клавиши белые, клавиши чёрные –
Грустная песня, далёкая быль
В душу врывается призрачным вороном,
Взвихрив крылами прошедшего пыль.

Пыль золотая с крупичами медного.
Что уж скрывать? Было вдосталь всего:
К жарким губам сладость горна победного
Я подносила, трубила в него.

На берегу Белой

Звуки летели свободно и весело,
Но иссякало дыхание вдруг,
Я замолкала. Души моей песенность
Гасла, как гаснет оборванный звук.

Радости – горести. Всё перемешано.
Встречи – разлуки. Огонь и зола.
Цвет облетевший и всполохи вешние,
Первые соки по нервам ствола.

Жизнь продолжалась. И счастье несмелое
Вновь возвращалось на круги своя.
Клавиши чёрные, клавиши белые –
Песня тревожная, правда моя.

Распахнулись за шторами дали –
День на знойных ветрах изнемог,
Да и ветры уже приустали,
Ткнулись в жаркую пыль у дорог,
По обочинам никнут травинки,
В каждом стебле желания дрожь,
Чтоб по ближней небесной тропинке
Прокатился спасительный дождь,
Обнял землю, с ней слился едино,
Сил счастливых своих не щадя...
Неужель ты не знаешь, любимый:
Без тебя я – трава без дождя.

МЕТЕЛЬ

Гремит всю ночь балконный переплёт,
Метель, не унимаясь, веселится.

А я мечусь: ужель твой самолёт
Не сможет в этой мгле к огням пробиться?
А я молю, молю звезду: «Прожги
Завесу снега, засияй, ликуя!»
Но за окном по-прежнему ни зги.
В такую ночь и звёзды не рискуют.
Берусь за телефон: «Аэропорт?
Что обещает нам метеосводка?
Погода как?» – «Погодка – первый сорт!
На небе, видно, колобродит чёрт –
Нелётная! Нелётная погодка!»
Кого ещё просить? К кому бежать?
Метель совсем, наверное, взбесилась.
Осталось только терпеливо ждать.
Любить и ждать – вот всё, что мне под силу.

В толчее серых дней растворяется год.
Не везло мне вчера – завтра не повезет.
Ты только люби меня.
Если мир этот бранный оставит вдруг мать
Иль друзья перестанут меня узнавать –
Ты только люби меня.
Проживу без удачи, без маминых ласк,
Не смогу без твоих понимающих глаз,
Ты только люби меня.
Снова солнцем запахнет пустующий дом,
Караваем горячим, живым очагом.
Ты только люби меня.
И откроется истина – смысл бытия:
Стало быть, неслучайно на свете и я –
Ты только люби меня.

Зааркань мою душу –
Обуздай, укроти.
Слезы прячу в подушку.
Смех же к небу летит.
И неволя – свобода,
И свобода – тюрьма.
Посчитай мои годы.
Ах, я сбилась сама.
Перепутала осень
С восходящей весной.
Накрути мои косы
На кулак, добрый мой,
Подведи меня прямо
К зеркалам разных лет –
Солнце ярое грянет
И утихнет вослед.
В Зазеркалье бывшего
Видишь: я, да не та.
Ну и пусть – черноброва,
Без любви – сирота.
Ну и пусть – очи ясны,
Пусть высок выгиб лба,
Без тебя все напрасно.
Пусть коварна судьба.
Из-под черного неба
Вновь душа рвется прочь –
Ангел вытянул жребий
Мне себя превозмочь.

ПРАЗДНИК

Звонок. Распахиваю дверь:
Цветы – багряный праздник
Среди обид, среди потерь,
Среди других оказий.

Твоя улыбка – мой восторг,
А в целом – наша радость.
Убогий угол, как чертог,
В нем святость и парадность.

Я тихо, искренне молюсь
Земному совершенству
И даже смерти не боюсь –
Приму ее блаженство.

Ну а пока... пока я тут,
Пока грозитя осень,
Вновь гладиолусы цветут,
И ты мне их приносишь!

В КОМАНДИРОВКЕ

Полка жесткая в общем разбитом вагоне.
Как легко без домашних, условных, но все же оков!
Под небритую щеку удобно подсунешь ладони –
Колыбель беспокойных, летучих и радостных снов.
И приснятся высоты, неведомые скалолазам,
И приснится царица несбывшейся давней мечты.
И любовное пламя охватит тебя, как проказа,
На своей же ладони, в объятьях ночной темноты.
Пусть и жестко, и тряско, но спится, как богу! –
сноровка

Обретать в неудобствах счастливый дорожный уют.
Возвращается явь на подернутых мглой остановках,
Где кого-то другого встречают иль преданно ждут.
А когда прояснятся реальные дали дороги,
Растворятся в неведомом самые вольные сны,
Вновь потянет, до боли потянет к родному порогу,
Чтоб небритой щетины коснулись ладони жены.

Вечер к ночи клонится.
Нет в замках секрета.
Будь моей бессонницей,
Будь моим рассветом.
Будь моим забвением
И моей усладой.
Сброшу с плеч сомнения,
Обольюсь прохладой,
Закачаюсь – улечу
На твоих ладонях.
Ты – молчишь. И я – молчу.
Ночь поет и стонет.

ОТКРОВЕНИЕ ГРЕШНИЦЫ

Подари мне взгляд –
большого не жду.
Под откос любви
прошлый день сведу.
Канет в пустоте
мой прощальный крик.
Нет пути назад –
впереди тупик.
Меж тобой и мной
навсегда стена.

Нина Зими́на

Ты с другой – вдвоем.
Я с другим – одна.
Рвусь к тебе душой
сквозь оконный звон.
Ты – моя любовь.
Ты – мой грешный сон.
Явь недолгих грез,
сбывшихся в бреду.
Подари мне взгляд –
Большого не жду.

Как темен и тянуч бальзам
В твоём бокале.
Молюсь холодным небесам,
Чтоб не узнали
О нашей тайне. Бог судья
Нам – бесприютным.
Ущербный месяц, как ладья, –
Кому попутно.
Мы разминулись без обид
Тогда навечно.
Не на моей руке блестит
Твое колечко.
Ладья угасла на ветру
Меж туч в заторе.
С лица тень прошлого сотру,
Забуду вскоре
Прощальный вечер, скорбный блюз,
Потухший месяц...
Зачем в счастливый день стучусь?
Не быть нам вместе.

УБИТАЯ ЛЮБОВЬ

Испей теперь из горькой чаши,
Испей до дна
Непоправимый день вчерашний,
Хлебни сполна.
На кромке чаши – слабый оттиск,
Рисунок губ
Непрошеной, незваной гостью.
Ты с ней был груб,
Как с девкой, что готова навзничь –
Свое бери.
Ты в черный цвет окрасил праздник
Весь от зари.
В кровь губы – сердцу было больно –
И чай остыл.
Она простила – и довольно.
Бог не простил.
Непоправимый день вчерашний –
Почти что жизнь.
Испей из этой давней чаши
И отравись
Тоской убийцы... Нет покою
С тех самых пор:
Ты над своею головою
Занес топор.

Я хожу в смирительной рубашке.
Колко. Больно. Сердце, подчинись.
А в глаза глядит мне день вчерашний –
Дразнит, манит, увлекает ввысь.

И мои обломанные крылья
Вновь трепещут, силятся поднять
Над счастливой, но недолгой былью,
Не вперед несут меня, а вспять.
Вновь мне душу опалило зноем
Слов твоих. Встревоженно луна
Высветила ночь, лишив покоя
Разум мой. И вновь осуждена
Я луной на сладостные муки
Ждать тебя, любить тебя, желать.
Небеса, возьмите на поруки
Душу, нагрешившую опять.
Ах, каким был жгучим день вчерашний.
Нынешний – смирение и боль.
Успокойтесь, крылья, под рубашкой.
Сердце, о любви не колоколь.

Тебя мне обещал вчерашний день,
Когда чумное солнце на плетень
Моей судьбы упало и застыло.
Я обещание боготворила.
О, как легко, свободно и светло
Катился день, не ведая заката,
По стеклам окон золото текло.
Я обещанием была богата.
День нынешний родился из утрат,
Из непогоды наших отношений –
И облетел счастливый летний сад,
Его даров не жду я подношений.
В глазах моих нашла уют зима!
Я солнце заморозила сама
И ставни наглухо закрыла...
Ужели я вчера еще любила?

Не приходи в тот опустелый дом,
Где пыль и паутина на былом,
Где всхлипывают горько половицы,
Когда хозяйке по ночам не спится.
Изъела ржавь замки на всех дверях,
Ведущих в мир надежд и утешений.
Хозяйка кружит, ключик потеряв,
По комнатам вчерашних отрешений,
Прошитых пулей времени насквозь.
Не приходи... Сегодня легче врозь.
А может быть, так кажется друг другу.
Тень счастья в доме движется по кругу.

ВЕСНА КРУГЛЫЙ ГОД

Второпях остывает короткое лето,
Жухнут сочные травы, пустеют поля.
Осень. Осень опять.
Только я не об этом,
А о том, как спокойна, прекрасна земля
Даже в грустную пору недолгих прощаний
С тихой благостью солнца, грибного дождя.
Замолчала кукушка, уже отвечала нам
Сроки жизни.
Чего еще ждать?
Мы идем по жнивью всех надежд и мечтаний.
Урожай – наша радость, наше счастье, любовь.
Пляшет ветер судьбы свой затейливый танец,
А ему, как известно, подвластен любой.
Так же кружимся мы.
Только я не об этом.

Нина Зими́на

Что положено в жизни, от нас не уйдет.
И не важно: зима за окном или лето,
Если любишь.
То в сердце весна круглый год.

ВАСИЛЬКИ В СЕНТЯБРЕ

Васильки в сентябре,
будто пригоршня звезд,
Оброненных случайно
в хрустальную вазу
Прямо с низкого неба,
где тешился дрозд,
Не клевавший багряной
рябины ни разу.
А рубины рябины
горят на ветру.
Не срывай их в охапку,
пускай пламенеют.
Лучше пусть васильки.
Я проснусь поутру,
А они на столе
тихо звездами рдеют.
Васильки в сентябре.
Все уже отцвело,
Приклонилось к земле
И не радует боле.
В их сплошной синеве
затаилось тепло
Рук твоих,
что срывали их с краешка поля.
Ну, а если случится
осенняя хлябь

В наших чувствах,
хочу одного я мятежно:
Не пустела б душа,
как пустеют поля,
Васильками,
пусть поздними,
плещет в ней нежность.

РОДНИКИ

Лицо земли умыли родники,
Светло и чисто на её пределах.
Под солнышком деревья-старики,
Младая поросль рвётся к небу смело.

Я под крылом небесной тишины
Гляжу в необозримое далеко,
Где родники разнеженной весны
Не знают убывающего срока.

Уходят годы, былями шурша,
Меняет мода скороспешно платье.
И только не меняется душа
И молодо смеётся на закате.

День вешний отражают зеркала,
Хотя давным-давно зима настала,
Любовь, что нас друг к другу привела,
Из родника небес берёт начало.

СТИХИ О СЛОМЛЕННОЙ ВЕТКЕ

Февральское солнце примяло снега,
Очистило окна от стужи.
На ветках берез не горят жемчуга,
Растаяли. Кто о них тужит?
Проклюнутся почки в апрельскую рань,
Очнется природа от спячки.
Лишь сломленной ветке, засохшей от ран,
Уже не очистить болячки.
Уже не шуметь на весеннем ветру
И птиц не качать то и дело.
...Я слезы тихонько ладонью утру,
К чему я о ветке?.. Ведь дерево цело.

Я тебя потеряла,
Я тебя потеряла,
Будто с неба звезда
За окошком упала.
Звезды млеют в созвездьях,
Их на небе немало,
Но без той, что упала,
Темнее вдруг стало.
Без тебя мне теперь
Не смеяться, не петь,
Без тебя и огню
В очаге не гореть.
Отшумела любовь,
Отбродило вино,
Ты один мне судьба,
А другой не дано.

7. ВЫВЕЗИ, ЛОШАДКА

СТИХИ О ЖИВОТНЫХ И О НАС

ЛЕТНИЙ ЭТЮД

Конь пасётся. Фетровые губы
Тянутся к нетоптаной траве.
До чего же сердцу нынче любо
На коня глядеть!
А чуть правей
Через луг летит-пылит дорога,
Мчат машины – фейерверк погонь,
Спешка. Скорость.
А в низинке лога
Конь пасётся. Шелкогривый конь.
Не спеша идёт по травам сочным.
Распахнул июль цветную ширь.
Чёрные, как смоль, конёвы очи
Дружелюбно озирают мир.
Конь в согласье с нашим бурным веком,
Где он достаточно потел:
Как-никак, а вывез человека
Он к машинам на своём хребте,
Шёл в оглоблях, воз тянул прилежно,
Под седлом, коль надо, гарцевал.
Вывести б коня из трав безбрежных
Прямо под уздцы на пьедестал...
Щиплет травы конь неторопливо, –
Что ему всех почестей венец?!
Ветерок расчёсывает гриву,
И звенит сквозь годы бубенец.

Вновь радуясь неопоздавшей встрече
С прекрасным в мире, молодость земли
Не верит, что смертелен яд змеи,
А верит в то, что этим ядом лечат,
И это так. Зачем не в срок набат?
Мы помним наставления Платона:
Пусть змеи извиваются, шипят,
Их грозный вид – всего лишь оборона.
Жужжит над ухом радостно пчела,
Она нектар цветочный собрала.
К чему махать рукою от испуга?
Природы мир. Тут властвует закон:
Не тронь зверька – тебя не тронет он.
В любом живущем обретёшь ты друга.

ЛЕВ В ЗООПАРКЕ

Ну здравствуй, лев – гроза зверей!
Лежишь? – бесстрашный и могучий.
Над головою грива тучей,
А взгляд потухший.
У дверей
Железной клетки два замка,
Их не открыть, просунув лапу.
И нудный дождь всё будет капать
Меж толстых прутьев с потолка,
Я так завидую тебе,
Мои непредвиденный приятель...
Порою в клетке обстоятельств
И я покорствую судьбе.

Волчица – старая матера, –
Отчаянье и страх в глазах,
Отстала от летящей своры
Собратьев пуганых. В горах
Грохочут выстрелы вдогонку.
Спаси, природа! Помоги!
От человека даже волку
Сегодня худо. На круги
По убывающей спирали
Загнали зверя – у-лю-лю!
Где время славной пасторали,
Пастушки, стадо на лугу?
Куда волчице нынче деться?
Как прыгнуть через черный край?
Подталкивая, бьют под сердце
Детеныши: спасай давай!
Но вдруг струей горящей пыли
Разъяло полость у сосцов.
И облака, вспорхнув, застыли
В проеме елочных зубцов...
О, если б зверя обучили
Стрелять ответно в подлещов.

ГЛЯДЯ НА МАНЕЖ

Манеж.
Весёлой рампы блики.
Остроты: «Мишка, не филонь!»
Медведь отплясывает лихо
«Камаринского» под гармонь.
На нём цветастые штанишки,
На ухе кепка под фасон.

Нина Зими́на

Сплясав, отвешивает Мишка
За ложку мёда всем поклон.
Смех, шутки...
Мне ж взгрустнулось даже:
Случается – и мы порой
Под чью-то дудку бойко пляшем,
Вполне довольные собой.
Как мёд, нам знаки одобренья,
Аплодисментов щедрый плеск.
А что потом?
Опустошенье,
Усталых глаз притухший блеск.

ОРЕЛ В ЗООПАРКЕ

Сидит на спиленном стволе
Засохшей кряжистой берёзы,
Чуть-чуть пройдётся по земле
И вновь – на сук
И примет позу
Величественную опять,
Глядит взволнованно и гордо
Царь птиц,
Которому летать
Там, где пронзают небо горы
И даль на много вёрст ясна,
Где облака ласкает ветер
И где свобода, как весна –
Кружи, не думая о смерти.
А он сидит.
Горячий взор
Ещё пронзительно тревожен.
Вокруг решетчатый забор,
Но в небо путь открыт.

На берегу Белой

Так что же
Он на земле?
Чем та взяла
Его любовь?
Травой иль пылью?
Вдруг кто-то крикнул:
«У орла,
Смотри, подрезанные крылья!»

РИСК

Обложили рыжую флажками.
Обезумев, мечется она.
Огненными злыми язычками
Вспыхивает жаркий снег.
Полна
Страстного желанья только выжить,
Ищет лаз – спасение своё,
А в глазах – охотник в шапке рыжей,
На прицел поставлено ружьё.
Два ствола. Нет жестче караула.
И флажки рассчитаны на страх.
Но лиса метнулась вдруг под дуло
И угасла сразу же в кустах...
Как бы ни страшна была облава,
Риску и отваге – трижды слава!

Из гнезда птенца до срока
Манит высота,
Синеока и глубока.
Первая мечта –
Испытать на верность крылья

И кругами – в высь,
Где свободы изобилье,
Словом, чудо – жизнь:
Где захочешь – там летаешь!
Глупенький птенец.
Ты пока ещё не знаешь, –
Есть всему конец.
В поднебесье ястреб кружит –
Ох, не попадись!
По земле же, вскинув ружья,
Бродят, целят ввысь
Браконьеры.
Так-то, милый...
А птенец – ничуть,
Взвился в небо легкокрыло.
Что ж, счастливый путь!

ДЕРЗОСТЬ

Громада туч почти коснулась крыш,
Нависла над вершинами деревьев.
Зловещая предгрозовая тишь
Вползает через запертые двери.
Заполнив всё, подобралась ко мне,
Как молотом, стучит по перепонкам.
Вдруг воробьишка в тёмной тишине
Проголосил настойчиво и громко,
Перелетая от куста к кусту,
(Откуда только в этой крохе смелость!)
Горласто он чирикал в пустоту
И разрушал её окаменелость.
Очнувшись будто, вся громада туч
Чуть покачнулась и заголубела.

А воробьишка, в дерзости могуч,
Выдeldывал коленца оголтело.
Он словно вызов бросил небесам
И утверждал своё существованье...

Вот этой дерзости так не хватает нам,
Когда вдруг что-то омрачит сознание.

О СОБАКЕ

«Помани меня! Полюби!» –
Ах, какая тоска в глазах.
«Не бросай меня, не губи
В этих гулких больших дворах!»
К небу грудятся этажи.
«Хочешь – буду я у дверей
Твой покой всегда сторожить?
Приласкай меня, пожалей!»

Пёс – дворняжка, но без двора.
Без ошейника. Без цепи.
Есть у волка своя нора.
А вот пёс под забором спит.
Разломила ему батон –
Но не ест. Ах, горе моё,
Ходит ищет хозяина он.
Одному-то что за жизньё?

От пинков только боль и страх
И глухая обида в глазах.

Котёнку снилось, что он – РЫСЬ,
Лесная чаща – дом привычный,
И на охоту: «Берегись!» –
Идёт он по лесу, мурлыча.
Спружинив ноги для броска,
Подкарауливает жертву.
Прыжков стремительных каскад
Наперекор судьбе и ветру.
Он – очень ловкий, грозный зверь!
Дрожите, Зайцы и Лисицы!
Пускай попробует теперь
Полкан оскалиться, озлиться.
Котёнку снилось, что он – РЫСЬ.
Сны окрыляют, как ни странно.
Вдруг кто-то крикнул громко: «Брысь!»
И кот, стремглав, слетел с дивана.



8. РАССКАЗЫ

ВАМ НЕ ЧУЖД ТОТ БЕЗУМНЫЙ ОХОТНИК

Вещательница астрологического прогноза на будущую неделю приветливо взмахивала длинными, густыми, может, и подклеенными ресницами, многообещающе улыбалась с экрана.

Ася улыбалась в ответ скептически, снисходительно: кому дано предугадывать жизненные дороги, тому заказан путь в рай. Скептицизм переплетался с желанием выудить из обычной текучки буден для себя что-то, взрывающее обыденность. Теперь много и на полном серьезе говорят, пишут о запрограммированности человеческой судьбы, и это растравляет любопытство, заставляет разгадывать загадку своего существования или хотя бы в мутной заводи общих обещаний поймать на свой собственный крючок что-либо материально осязаемое.

«В течение предстоящей третьей недели января, – вещала астрологиня, – вокруг вас будут разыгрываться события, истинные пружины и движущие силы которых останутся для вас скрытыми. Поэтому лучшая позиция для вас – наблюдательная, не ввязывайтесь ни в какие интриги и поменьше откровенничайте. Возможны приступы хандры и разочарований в любви и дружбе. Не концентрируйтесь на этих ощущениях: все проходит! Неожиданные повороты в вашей жизни могут оказаться трагичными или роковыми. Будьте осторожны и не принимайте скоропалительных решений! – предостерегала вещательница, улыбаясь. – Денежные расходы возрастут непропорционально доходу. Я присоединяюсь к пожеланию президента России: «Затяните потуже пояса и постарайтесь как можно реже пользоваться кошельком – все образуется!..»

И вдруг в утробе телевизора что-то щелкнуло, хрястнуло, хрюкнуло и зашипело по-змеиному. Барышня шевелила губами, но беззвучно. Шипенье прекратилось, и она заговорила хриплым простуженным или прокуренным голосом мужика: «Внимание! Внимание! Вчера к вечеру в сквере Metallургов обнаружен с ножевым ранением мужчина двадцати пяти–тридцати лет. Одет в синие потертые джинсы, черный свитер тонкой машинной вязки, обут в черные сапоги чехословацкого производства. Верхняя одежда отсутствует». – Вещательница улыбалась ярко и празднично. Хриплый баритон работника местной милиции, вклинившегося в эфир первой программы, совпадал с артикуляцией астрологини, и в целом получалась комически жуткая картина.

«Личность пострадавшего не установлена по причине отсутствия документов. Особые приметы: на ногах пострадавшего татуировка следующею содержания: «Не троньте их – они устали». Рост – сто семьдесят четыре сантиметра, черноволос, прическа короткая. Худошав.

Пострадавший в реанимации, без сознания, большая потеря крови. Родные и близкие, просьба – откликнуться: нужна донорская кровь второй группы, резус отрицательный».

Опять что-то щелкнуло, и астрология светлым голосом произнесла: «Спасибо за внимание! Спокойной вам ночи и счастливого завтра!»

Ася расхохоталась.

- Великолепный кошмар! Беспредел человеческой глупости! Надо же! - «Не троньте их - они устали!» Нарочно не придумашь!

- Ася! Бог с тобой? Грех смеяться, - урезонила ее мать. - Человека зарезали. Душу загубили.

- Мама! Какая душа? У таких, кто позволяет подобные насмешки над собственным телом, вместо души пробка, если хочешь - затычка на всем человеческом. Нет, это даже более, чем смешно.

- Вот именно - более. Тут впору содрогнуться, а не смеяться. Слышала? - верхней одежды на нем нет. В январе-то месяце... Значит, ограбили да и порешили. Сегодня одного раздели, убили, завтра - другого.

- И все-таки смешно. «Не троньте их - они устали,» - не унималась Ася.

- Смех в этом случае - не меньшая глупость, чем татуировка на ногах.

- Ладно, ладно! Убедила, - Ася подошла и поцеловала мать в щеку. Но смешливое настроение не оставляло ее. - Знаешь, мама, один человек подметил, что любители татуировок чаще всего украшают свою грудь и прочие места на теле тюремным афоризмом «Нет в жизни счастья». И этот человек не встречал еще ни одного нагрудного плаката, нарисованного без ошибки. Бедную «жизнь» непременно прописывают через «ы» и с мягким знаком после «з», - чтобы, значит, смягчить жизненные удары: в мягком знаке - магическая противоударная сила. Понимаешь? - Ася опять рассмеялась с веселой издевкой над писателями. - А уж слово «счастье» сам черт велел таким варьировать на собственный манер. Припечатывают тебе на грудь какое-нибудь «щастя» - и все пойдет кувырком. Существует закономерность: ошибки в словах влекут за собой ошибки в жизни.

- Надо же! - притворно ахнула мать Аси. - целая философия. Кто же он - этот философ? Что-то не припомню, чтобы ты говорила о нем раньше?

- Да так... Летний эпизод. Горячо - холодно. Было - не было... - уклончиво ответила Ася. - Давай, мама, спать.

Ася выключила свет. Расшторила окно - романтичнее засыпать, когда в темном проеме движется небо. И кажется, что не засыпаешь, а улетаешь в окно и соединяешься с бездной.

Крещенский мороз выбелил синеву, отгранил звездочки, и они засияли пронзительно-призывно. Ущербная луна медленно плыла по синеватой белесости, порой зарывалась в легкие

дымчатые облака и походила на старый челн, увозящий в неизвестность что-то очень важное для Аси.

Реальность постепенно растворялась, сон короткими всплесками навевал небылицы. Вот Ася в челне под парусом догоняет луну, легко скользящую по поверхности то ли неба, то ли реки. Рядом вынырнул пловец, схватился за мачту – парус хрустнул, сломался. Ася в гневе столкнула нахала в воду, только ноги в безразмерных носках бултыхнулись в воздухе, но он успел схватить ее за руку и потянул за собой. Ася очнулась.

Луна выскользнула из облачной дымки, округлившись.

«Что за чертовщина! – возмутилась Ася. – Приснится же такое!» – и почувствовала, что уснуть теперь невозможно.

Безразмерные носки на ногах пловца – деталь того самого летнего эпизода, о котором она обмолвилась матери.

Ася в тот предпоследний день июля взяла на прокат катамаран и, отчалив от берега, направилась, как всегда, вверх по Белой километра за два от пляжа. Там она обычно разворачивалась и пускала посудину по течению. Блаженство. Словно черепаха Тортилла в кресле посреди вод под солнцем – хочешь загорай, хочешь – читай или по сторонам смотри.

Катамаран держала ближе к берегу. Высоченные сосны на берегу поглощали солнечные потоки, разморенные кроны источали смоляной дух и навевали прохладу.

По висячему мосту, под которым Асе предстояло пройти, некто в плавках бежал легкой трусцой и махал ей рукой. Когда Ася приблизилась к мосту, он крикнул:

– Девушка! Только для вас – и причем бесплатно – смертельная петля в воздухе!

Некто вскочил на перила, балансируя, удержал стойку, оттолкнулся от опоры и, крутанув сальто, исчез под водой.

Ася от неожиданности вскрикнула, зажала лицо руками.

– Спасибо за внимание! – парень-прыгун по пояс держался на воде возле катамарана. – Очень приятно, что вам стало

страшно. Я безнадежно никому не нужен, и тут, – такое волнение. Приятно.

Ася ошарашено молчала.

– Может, протяните утопающему соломинку и позвольте воспрянуть духом на спасительном судне?

Парень ловко взобрался на круглое крыло катамарана и, не покачнув его, уселся в свободное кресло,

– Я – Игорь. Едем дальше? – он уверенно поставил на педали ноги... в безразмерных носках. Эта деталь удивила Асю больше, чем само появление парня.

– Чтобы не натереть мозоли в воде, – пояснил он, смеясь, перехватив Асин взгляд.

Ася рассмеялась в ответ – располагала доверительная и насмешливая по отношению к самому себе улыбка.

– А как зовут мою спасительницу?

– Анастасия.

– О! Царское имя! А если по-близкому – Настя? Можно так!

– А если по-близкому, то – Ася. Так меня с детства зовут. – Тургенев боготворил это имя.

– Откуда вам известно? Елена – ему больше по душе. А боготворил он Полину, ту, которая Виардо.

– Полину он любил. А Асю боготворил. Клянусь! Он мне сам об этом сказал. Явился во сне – и признался.

– А вы думаете, я случайно вышел на вас? По наущению великого. «Героини романов Тургенева, вы надменны, нежны и чисты». А это уже Гумилев мне подсказал. Вы ведь с великим конкистадором вчера на пляже загорали?

– Не только вчера. Он и сегодня на берегу меня ждет.

– Пусть ждет. Кто-то, кого-то и где-то обязательно должен ждать. А сейчас вы, Ася, опять направляетесь до красной скалы? Или ближе?

– Послушайте, а на сей раз вам кто мой маршрут начертал? – Ася подозрительно прищурила глаза. – Тоже кто-то из великих?

– Нет, на сей раз я сам разведал. Вас кто вчера на веслах раз пять обгонял? Я, – он гордо задрал нос. – Но вы, как говорится, ноль внимания и два – презрения. А кого вы отбрили около лодочной станции? Опять меня. Доколь же такое может продолжаться, если вечером у меня самолет, а я не знаю вашего имени. Пришлось атаковать таким вот манером.

– Куда же путь держит всевеликий воитель Игорь? – Ася подхватила его дурашливый, игривый тон.

– Восвояси. Приехал вот должок вернуть, предупредил подателя, а он смылся.

– Кто же он? Может, я знаю. Город у нас маленький, каждый третий – сват, брат, шапочный знакомый.

– Гад один. Я думаю, вы с такими не водитесь. У вас вон Гумилев в друзьях, а податель мой, – Игорь зло сплюнул в воду, – представления не имеет, кто сказку «О рыбаке и золотой рыбке» написал. Гад и есть гад.

Асю передернуло.

– Вы испугались? – он повернулся к ней всем корпусом: карие бархатные глаза, будто перенесенные с портрета отчаянного гусара на его лицо, показались Асе неживыми под крутым лбом, темные волосы уже просохли и по шее закручивались в мягкое полукольцо. Игорь улыбнулся, и глаза ожили. – Не бойтесь. Я просто не умею прощать. Живи я в прошлом веке – давно бы погиб на дуэли. Вы не задумывались над тем, что на дуэлях фортуна, как правило, на стороне подлецов?

– Нет, и в голову не приходило.

– Значит, не было повода задуматься. Счастливая.

– А у вас? Был повод?

– Был... И есть. Но об этом, если придется, в другой раз. Давайте о приятном! Солнце! Воздух! И... вода! И вы – рядом. И вам чужд... Сделаем поправку. Гумилев не обидится, потому что мой вариант соответствует настроению сейчас. И... вам не чужд «тот безумный охотник, что, взойдя на нагую скалу, в пьяном

счастье, в тоске безответной прямо в солнце пускает стрелу...»
Мне очень хочется поцеловать вас. Можно?

– Мы перевернемся! – ужаснулась Ася не столько тому, что они действительно могут перевернуться, а сколько неожиданному повороту. Но противиться – удивилась сама себе – не хотелось.

– Если перевернемся, я вас, словно дельфин, на своей спине вынесу на берег, – притягивающе посмотрел на нее гусарскими глазами. Она зажмурилась. Катамаран перестал шлепать по воде. Поцелуй был безобидным, поощряющим движение Асиной души.

– Давайте, Игорь, повернем обратно, – отстранилась Ася.

– А Красная скала? Она опечалится. Завздыхает: «Где же моя Анастасия? Ау!»

Рупором сложил ладони и крикнул: «Аа-у!» Где-то вдалеке раскатилось: «Жду! Жду!»

– Слышите, Ася? – ждет Красная скала.

К крутому берегу в зарослях иван-чая, поэтому и прозванного Красной скалой, не подойти вплотную – мелко. Игорь в своих знаменитых носках прошлепал по воде к суше, наломал малиновых метелок целое беремья, возвратился и, стоя в воде, осыпал Асю цветами.

– Властительнице Анастасии – подношение от раба ее!

- Вот как? Воитель, безумный охотник превратился в раба! Быстро же! – Ася, имитируя недоверие, покачала головой.

– Таков удел всех победителей! Победа – это иллюзия свободы. Завоевать – дело несложное. Куда сложнее служить победе, понадобится – и на колени встанешь. – Игорь столкнул катамаран с мелкого места. – Ася! Давай поменяемся местами – с правой стороны мне удобнее смотреть на тебя.

– Совсем не понятно – почему?

– Надо быть внимательнее, да осмелится заметить раб. А ты скользишь взглядом поверх. Посмотри мне в глаза!

– Смотрю...

– Что видишь?

На язык ввернулась откуда-то взявшаяся строчка, и Ася продекламировала, нараспев, шутя: «Горячий блеск янтарных глаз – и сердце рвет уже вериги».

– Ты сказала «янтарных глаз»? Маленькая поправка: не глаз, а глаза... Одного глаза... – Игорь, не мигая, прямо и вызывающе смотрел на нее. И Ася поняла: левый глаз у него холодный и злой – стеклянный. Сразу стала серьезной, отвела взгляд, поднялась и перешла на другое кресло. Игорь сел на ее место, демонстративно подтянул свои носки, крутанул педали. Катамаран дернулся и стал разворачиваться. Течение подхватило их и понесло. Солнце с середины кручи радостно обозревало двоих: она смотрела на воду, а он – на нее, пристально и насмешливо.

– Ну что, властительница Анастасия? Теперь ты согласишься принять поцелуй одноглазого Раба? Или...

– Давай без «или», – у Аси запершило в горле, голос дрогнул, она отвернулась.

Игорь осторожно обхватил ладонями ее голову и повернул лицом к себе:

– Прости... Я злой. Причем неисправимо злой. Не веришь?

– Нет...

– И правильно делаешь.

К катамарану приблизилась лодка. На корме полулежала женщина в темных очках, мужик на веслах привстал и обратился к Игорю:

– Парень! Закурить не найдется? – свои забыл на берегу.

– Нет, я – не курю

– Ну, добро. На нет и спросу нет. Стрельнем дальше, – мужик взмахнул веслами. На правой его руке от плеча до локтя красовались две целующиеся голубиные головки, а под ними столбиком надпись: «Нет ничего слаще любви».

– Вроде бы нормальный человек, а такую дикость носит на себе, – заметила Ася.

– Может, и рад не носить, да ведь не смоешь, не сотрешь, не вытравиишь, хоть три слоя кожи дери – след все равно останется.

Тут-то Игорь и рассказал Асе о наколке всех времен и народов: «Нет в жизни счастья!»

Ася от души посмеялась тогда над великими грамотеями.

Сдали катамаран лодочнику. Выбрали притененное место на солнечном берегу.

– Высушу лапти – и в путь!

– Сними свои драгоценные носки и повесь – быстрее высохнут.

– Нельзя. Мозоли засветятся, – грустно пошутил Игорь, – давай погадаем на твоём Гумилеве. Трагическая личность – фатальное творчество. Как выпадет – так и будет. Говори страницу и строчку по счету сверху. Ася подумала:

– Страница триста двадцатая, девятая строка.

Игорь нашел страницу:

– Ага, вот: «Если, Господи, это так, Если правильно я пою, Дай мне, Господи, дай мне знак, Что я волю понял твою». Все в руках Господа – так надо понимать, и встреча с тобой – добрый знак. – Он притянул Асю к себе, положил голову ей на плечо. – Хорошо. Очень хорошо, а надо расставаться. Ты проводишь меня?

В аэропорт приехали за час до регистрации. Солнце клонилось к своей последней черте, за которой хоронилась мгла. Еще немного – и сизые стрелы сумерек пронзят закатное солнце, растворятся в нем, образуя зловещие багровые тона.

Площадка перед зданием аэропорта облита красным светом заката и кажется нереальной.

Не совсем реально и то, что Ася доверилась незнакомцу и теперь тревожится за него, не похожего ни на кого из тех, с кем доводилось встречаться, покоровившего ее своим сальто с моста, драгоценными носками и, конечно же, тем, что с Гумилевым на короткой ноге, и не только с ним. Многое с ходу читает наизусть.

– Потрясающее впечатление – ты все знаешь и все умеешь.

Игорь рассмеялся:

– Да нет, просто я научился подавать себя на голубом блюдечке с золотой каемкой. Хочешь – ешь на первое, останется и на второе, и на десерт, сама жизнь научила – потрафлять вкусу. Да, да, Асюля, это своеобразный кураж, тактика наступления и на таких вот умных недотрог, которые на пляж ходят с Гумилевым, а всех прочих отшивают не глядя.

– И многих ты покори́л таким манером?

– Встретил совсем нечаянно одну. – Игорь притянул к себе Асю, – да и ты, боюсь, отвернешься, если я признаюсь, что мало к чему способен, кроме, как язык чесать. Гвоздь в стену вбить – и тот согну, либо по пальцам по собственным. Не мужик, так себе.

– Опять кураж! Только теперь по нисходящей?

– Вполне серьезно. Меня жестоко наказывали за то, что не рожден Никитушкой Ломовым. Издевались. Насмешничали. Не брошенная к ногам обидчика перчатка жжет мне руки и душу.

– Сюда ты приехал, чтобы бросить перчатку? – осторожно спросила Ася, не надеясь на ответ.

– Да! – Игорь жестко сжал губы, помолчал. – Податель получит то, чем наградил меня. Посеявший зло – пожнёт его.

– Какое зло? – вопрос вылетел сам собой, хотя Ася и боялась быть навязчивой. – Или это не для огласки?

– Банальная история. После института призвали в армию. Солдатская каша мне не пошла впрок. Материться не научился. Во время марш-бросков падал и задыхался, как рыба на песке. Салага первого сорта с высшим образованием. Есть над чем пошутить. Однажды, после очередного броска, снится: змеи обвили ноги и вонзаются зубами поочередно – дикая боль. Рванулся с койки – прикручен ремнями. Гады-старички. Ржут – и свое делают. Орать не дали – заткнули рот. Бился головой о край кровати. Один гад придавил мне голову так, что я остался без глаза. Этому гаду уже дембель подписали, а меня в лазарет

списали, оформив как несчастный случай. У нас самая гуманная в мире армия. Пожалуйся – пришьют, как бешеную собаку, и в цинковом гробу матери – незабываемый подарок. Она меня одна растила. Умная, славная – таких мало. Придумал для нее версию, чтобы ей не так больно было... Больше всего сокрушалась, она на книжках меня воспитывала, что мне теперь не читать. Привык, читаю и одним глазом, как двумя... И даже вот тебя высмотрел.

Ася, подавленная, молчала. Сидела, согнувшись, словно ислѣстанная плетью по спине.

– У тебя будет время подумать, стоит ли твоего внимания такая размазня. Я не стану писать тебе. Я внезапно приеду за ответом. Хорошо?

– Но...

– Не надо «но», – он зажал ей рот поцелуем. – Вон подходит такси, ты уедешь сейчас. Я помашу тебе из иллюминатора, когда буду лететь над твоим домом.

– Я же не увижу тебя, – Ася старательно улыбалась, чтобы не зареветь, не кинуться ему на шею, не закричать: «Я люблю тебя!»

– Увидишь, увидишь! – заверил он ее шутливо. – Только голову держи кверху, ну и нос, само собой разумеется. – Поцеловал ее в нос, как котенка, провел жаркой ладонью по щеке и подтолкнул к машине, которая, словно нарочно, остановилась возле них, высаживая пассажиров. – Вот вам червонец, – и обратился к шоферу. – Довезите девушку до дома, – и наизусть повторил Асин адрес.

Вот и вся история. Летний эпизод защебил Асину память.

Она спохватилась, что не спросила Игоря, в каком городе он живет. И написала бы ему, да некуда.

Луна уже зашла за раму, только бледное сияние ее тревожно оживляло звездную насыпь на стекле. Ася встала с кровати посмотреть, далеко ли уплыла луна, окинула взглядом двор: в пустынном дворе, опершись на изгородку газона, застыла

фигура, задрав голову к Асиному окну. «Игорь! Боже мой!» Ася впрыгнула в валенки, набросила на ночную сорочку что-то из одежды, висевшей в прихожке, и вынеслась к подъезду.

У изгородки – отслужившая новогодняя елка, на макушке которой уцелел самодельный звездолет из картона, похожий на мужскую шапку. Ася сдернула картонку и затоптала в снег. Поднялась на свой третий этаж, тихонько, чтобы не разбудить мать, защелкнула дверь и беззвучно расплакалась.

«Надо же так рассиропиться: залетный соловей напел в уши разные небылицы, удивил – ошеломил и, довольный, улетел в неизвестность. Глупая ворона – раскрыла рот от радости. Так тебе и надо!» – успокаивала она себя, прислонившись лбом к ледяному стеклу. Небо за окном помутнело, звезды утонули в наволоке, луна тоже застряла в ворохе дымчатой шерсти, пригрелась и задремала в нём. Асе стало нестерпимо холодно, юркнула под одеяло, но долго не могла согреться.

Уснула под утро, измученная ознобом, истерзанная сомнениями, успокоенная надеждой.

Наступивший день – понедельник. Отвела положенные по расписанию четыре урока в училище, которое готовило дошкольных воспитателей, и поспешила домой – надо было к приходу матери приготовить обед. Открыла дверь – с кухни аппетитно тянуло сваренным супом,

– Мама! Ты почему сегодня раньше меня? – удивилась Ася и тут же перешла на шуточный тон. – С работы что ли сократили? На двух библиотечарей приходится один читатель?

– Ну что ты! Пока еще два читателя на одного библиотечаря.

– Ты заболела? – встревожилась.

– Нет, как видишь.

– Мама, не темни! Выкладывай.

– Я кровь ходила сдавать для того мальчика с ножевым ранением. У меня же вторая группа, резус отрицательный.

Ася остолбенела, она-то совсем забыла под впечатлением бессонной ночи о вчерашнем сообщении

– Мама, ты с ума сошла! – засуетилась, закружилась около. – Я тебе сейчас сладкого густого чая с молоком.

– Ничего мне не надо. Я себя распрекрасно чувствую. Легко, словно молодая... Мальчика жалко. Нож повредил и селезенку – удалили ее. Пока не пришел в себя. И родственников – никого, и знакомых – тоже. Предполагают, приезжий он.

Ася вздрогнула. Струна доброго настроения сразу же лопнула, завизжала где-то внутри, задрожала, перехватила горло и больно вонзилась в грудь.

– Мама, ты его видела?

– Плохо. Бледное лицо, черная борода – вот и все, что запомнилось, хоть и лежала почти рядом, на соседнем с ним столе. Переливали по прямому контакту – это мой термин, не знаю, как там у них называется.

Асина боль чуть притупилась: у Игоря нет бороды. Ася облегченно вздохнула. К тому же, эта дурацкая надпись на ногах. Надо иметь вывихнутые мозги, чтобы до такого додуматься. Игорь и татуировка. Несовместимо. Ася старательно успокаивала себя, но концы оборванной струны делали свое дело, впивались в сознание, то затуманивая его, то проясняя. «Борода могла и вырасти – пять месяцев как-никак прошло», – один укол. «А носки? По воде – в носках! Почему?» – второй укол. Но чтобы мать не заметила ее смятения, Ася как можно развязнее спросила:

– Мама, а этот шедевр человеческой глупости на ногах? Что может сказать об авторе?

– Наверно, по дурости мальчишкой сделал, – спокойно отозвалась мать. – А может, в тюрьму попал, бывает и ни за что. Но все равно жалко. Человек ведь. Почти мальчик. Жизнь в самом начале,

– Он не умрет?

– Не знаю. Все в руках Божьих. Доктора надеются – молодой, выкарабкается.

– Это он! – Ася рухнула перед сидящей в кресле матери, уткнулась лицом ей в колени. – Мама, это он! Я дура. Я не поняла, какие змеи ноги ему кусали.

– Ася! Какие змеи? – всполошилась мать.

– Ничего не спрашивай. Все потом. Я – к нему! Мама! Я – к нему.

Она бежала по проезжей дороге, забыв, что для пешеходов существует тротуар. Шоферы сигналили ей, угощали щедро матом. «Москвич» обошел ее и остановился впереди.

– На пожар? – спросил смешливый парень, когда Ася поравнялась с ним, и сразу остепенился, встретившись с ее взглядом.

– В больничный городок.

– Садись! Подвезу, – уже дорогой осторожно спросил, – умер что ли кто?

– Не знаю. Кажется, нет.

Парень больше ни о чем не спрашивал, подкатил прямо к дверям приемной.

В приемном покое Ася долго и сбивчиво объясняла, кто она, зачем пришла и к кому. Вызвали дежурного хирурга. Тот сразу все понял, велел дать халат.

Самый длинный путь, который выпал Асе в жизни, – это путь из приемного покоя по коридорной трубе до лестницы с множеством ступенек и от лестницы до палаты. «Если этот несчастный не Игорь, дай Бог – не Игорь, я все равно останусь, пока тому лучше не станет. Ведь человек же», – зазвучала в сердце Аси и стала ее собственной мамина интонация.

– Вы хорошо владеете собой? – спросил доктор.

– Не очень. Но постараюсь. – Ася перешагнула через порог. Голубые губы. Заострившийся нос. Бумажный, как у покойника, лоб, только в испарине. Темные полукольца волос прилипли ко лбу. Глаза прикрыты вздрагивающими ресницами. Борода полуподковкой неестественно удлиняла лицо. У изголовья стояла медсестра. На блестящей треноге – штатив с колбами и

трубками, соединяющимися в локтевом сгибе лежащего навзничь человека

– Он? – спросил Асю доктор.

– Не знаю, — прошептала она.

Подошла медсестра и тихо сообщила: «Вернулось сознание».

– Очень хорошо. Вызывайте немедленно следователя, вот вам его телефон, – не сказал, а прошуршал доктор и подошел к высокой кровати, скорее похожей на стол.

Ася не отводила глаз от лежащего: медленно проявлялись знакомые черты, смятые угрожающей смертью.

– Игорь! – выдохнула она с болью, отчаянно и призывно.

Лицо его дрогнуло, чуть повернулось на зов. Ася застыла над ним.

Они долго и грустно смотрели друг на друга.

– Фортуна на стороне... подлеца, – чуть разлепил он бескровные губы. – Понимаешь?

– Понимаю... Пожалуйста, не разговаривай. Я не уйду от тебя, пока не поправишься.

– А потом?

– И потом... – Она взяла полотенце и осторожно умело, будто это делала всегда, промокнула испарину на его горячем лбу...

Январь, 1992 год.



ПОВОРОТ В НИКУДА

Занавески на окне, словно крылья подбитой птицы. Солнечный свет, тараня их, кое-где проник сквозь и весело устроился на противоположной от окна стенке. Потом, не теряя веселости, перебрался пониже, ближе к Вериной кровати, сорвался со стенки и мягко упал рядом с Верой, нежно коснулся ее рук: «Держи! Я – твоя надежда!».

Верини руки согрелись, и она окончательно пришла и себя.

– Где я? Где я? Где? – заметалась на подушке.

Хотела вскочить, кинуться к окну, распахнуть его. Тело, всегда послушное ей тело, оказалось закованным до пояса в панцирь – не пошевелинуться, не двинуться.

Над ней склонилось круглое лицо в белом колпаке

– Вы в больнице. Лежите спокойно. У вас все хорошо, – и тут же поправка, – у вас все будет хорошо.

Вера с надеждой устала на женщину в белом глаза, все еще не понимая, как сама оказалась тут, и вдруг обнаружила склонившаяся над ней говорит одно, а думает совсем другое: «Допрыгалась. С жиру бесилась. Так тебе и надо. Узнай теперь, почем фунт лиха».

«Какой фунт лиха?» – не понимала Вера. – Она опять испытующе заглянула в глаза белому колпаку, и опять полилось на нее беззвучное: «Мордашка смазливая: хоть сейчас на выставку. К таким мужики – как мухи на мед. Теперь всех смоем – кому хромя нужна» ...

Вера опять зажмурилась – поток слов прекратился.

– Почему хромя? – выкрикнула Вера. – Что с моими ногами? Они целы? – вопросы возрастали восходящей отчаяния и, словно маятник, зачистили в ее сознании. И снова – душный туман. Голова будто оторвалась от подушки, поплыла отдельно от тела и стремительно стала проваливаться в темную бездну.

Когда открыла глаза, отметила, что солнце уже ускользнуло за оконную раму. Вместо солнца – усатое мужское лицо, тоже в белом колпаке, встретило ее взгляд...

«Вот умница! Очнулась! Ишь, какие озера опрокинула на меня, но еще мутные. Ничего, денек-два – и посветлеют», – полилось на Веру из его глаз, внимательно добрых.

– Как вы себя чувствуете? Голова кружится? – спросил Веру и подумал: «Вообще-то не должна кружиться, страшное позади».

– Нет, не кружится. Только словно вросла в подушку – тяжёлая.

«Все нормально, – подумал он. — Умница! Хорошо справилась», – вслух продолжил свои мысли:

– Пройдет и тяжесть. Капельницу можно снять, – приказал он медсестре, той самой, которая плохо думала о Вере. Сейчас Вера старалась не смотреть той в глаза, чтобы не испортить настроения, внушенного ей Доктором.

– Доктор! Как я оказалась здесь? Что со мной случилось? Я решительно ничего не помню.

– Ваш автомобиль занесло на повороте. Вот и вся история. Как говорится, летайте самолетами, чтобы не попасть в автокатастрофу, и ходите пешком, чтобы не разбиться на автомобиле.

Вера улыбнулась.

«Умница! Не подводи меня, – подумал Доктор. – Твоя смерть – не честь мне».

– Я могла умереть!

– Могла. Но не захотела, – пошутил Доктор. Вера поглядела ему прямо в глаза и поняла, что это он не захотел, чтобы она умерла.

– А ноги? Мои ноги? Они...

– Они будут ходить и даже танцевать, – предотвратил он ее вопрос ответом. – Мы хорошо потрудились, чтобы у вас не было причины отчаиваться.

Доктор смотрел на нее тепло и ободряюще, и она слышала его внутренний голос, вернее сказать, ловила глазами «Через три дня можно снять швы частично. Осколки уже обволоклись костным мозгом, начнется процесс срастания. Рентген покажет», – вслух продолжил:

– Через неделю сделаем рентген. Думаю, что кость срастется и будет, как новенькая.

«Да, он думает именно так», – Вера почти успокоилась маятник отчаяния сбавил темп. Но тревога другого рода не унималась.

– Скажите, Доктор, вы знаете, о чем я сейчас думаю? – она, не мигая, устремила глаза в глаза.

«И в самом деле – какие чистые живые озера», – подумал он, но вслух сказал:

– Если скажете, то узнаю.

– Я думаю, что вы откровенный и справедливый человек, – улыбнулась Вера.

– Спасибо на добром слове, – сказал он и повернулся к сестре продиктовать назначения.

Утро следующего дня надолго запуталось в занавесках Вера рассматривала потолок, как первоклассница рассматривает азбуку, и тщетно старалась прочитать свое будущее, сложить хотя бы по слогам. От кого оно зависело? От нее самой? В этом не было никакой уверенности. Как она ни складывала, получалось одно: ее надежда на завтрашний день – это надежда на Доктора.

«Он не захотел, чтобы я умерла. Он не захотел» ... В это время открылась дверь – на пороге появился Доктор в сопровождении все той же недоброжелательной медсестры.

– Доброе утро! – он подошел к Вере, взял за руку, пальцы его замерли на пульсирующей жилке.

Вера неотрывно глядела на него: когда Доктор смотрел на часы – она не слышала его, он оценивающе взглядывал на нее – и она схватывала то, что он думает. «Глаза чистые, – отмечал он,

– значит, головных болей нет... Светлые, даже лучистые – стало быть, и настроение хорошее... Боли в ноге отступили...

Удивительные озера. Но печальные» ...

– Вы умеете себя уговаривать? – спросил Веру.

– Не знаю.

– Попробуйте! Утро начинайте со слов: у меня все хорошо, завтра будет лучше. Заряжайте себя уверенностью. Почаще улыбайтесь – это верный стимул выздоровления.

Доктор подошел к окну, раздвинул обвисшие крылья занавесей: первый солнечный луч весело перепрыгнул через подоконник.

– Солнце вам не мешает? Не раздражает?

– Ничуть, – ответила Вера и по-детски доверительно добавила, – с ним не так одиноко.

– Вам и не должно быть одиноко. И солнце – в гостях, и... – подошел к двери, распахнул ее. – Входите.

Лева!.. Ее Лева, как явление из ниоткуда, шагнул из темного проема двери и загородил собой Доктора. Три гвоздики, две алых и одна белая, скорбно опустили пышные, венчики: Лева так сжал их в руке, что они задохнулись и лишились сил, как когда-то задыхалась и лишалась сил в его объятьях Вера.

Лева! Как же случилось, что он выпал из ее памяти? Ни вчера, ни сегодня мысли не касались его. Да только ли его? Жизнь, оставшаяся за чертой дня, в котором Вера очнулась распростертой на больничной койке, не напоминала ей о себе, не тревожила. Лева принес эту жизнь в нынешний день вместе с венчиком поникших гвоздик, любимых Вериных цветов. И закружилось забытое в памяти, заметалось, словно верстовые столбы за стеклом летящей вперед машины.

Лева! Лева... Еще несколько дней назад все ее жизненные круги замыкались на нем. Он рядом – радость приподнимала потолок, раздвигала стены их малометражки. Его нет – и у двери, и у телефона сторожевой собакой замирало ожидание. Как в последний раз, когда тревожная трель междугородки

взорвала пустоту. Вера схватила трубку: Лева звонил из соседнего города, он радостно сообщил, что сократил срок командировки на целых два дня, и если она не в силах ждать ночного поезда, который привезет его, то может приехать за ним: сто километров – это полтора часа туда и полтора обратно.

... «Лада» истерично взвизгивала на поворотах, когда Вера нажимала на тормоз, и снова стрелка спидометра захлестывала за отметку дозволенной скорости. Вера летела к своему счастью...

Лева! Он шагнул к ней, опустился, почти упал на колени и припал губами к Вериной руке, слабо потянувшейся к нему. Губы его дрожали.

– Вера! Верочка! Как же теперь? Ты? ... Мы? ...

Его горячие глаза, которые в той, прошлой гладкой жизни сладко ошпаривали Верино сердце, сейчас были переполнены болью.

Глаза – в глаза... И Вера крепко, до радужных кругов зажмурилась. Лева, ее Лева сейчас страдальчески думал о себе, как ему быть с искалеченной Верой. Страх, отчаяние, безнадежность прочла она в глазах Левы. Это чувство передалось ей и захлестнуло сознание... Лева предал ее, он не хотел, не мог любить ее такую — беспомощную. Еще несколько дней тому назад он гордился ею, похвалялся перед другими, тешил свое самолюбие. А теперь Вера – словно болячка на видном месте его холеного тела, и он тщательно подбирался, как бы отшелушить ее безболезненно для себя.

Лева. Тогда она летела к нему, досадуя на визжащие тормоза, проклиная повороты, на одном из которых занесло ее машину. Но самый крутой поворот оказался впереди, это Вера поняла сейчас и не желала сбавлять скорость: разбиваться – так до конца.

– Позови Доктора! – тихо попросила она Леву. И закрыла глаза.

– Доктора! Позовите Доктора! – Левин испуганный голос гулко заметался в стенах, среди которых принято говорить тихо и спокойно.

– Доктор! У нее закружилась голова? Она потеряла сознание? – то ли спрашивал, то ли объяснял Лева, вызванному Доктору. – Это все от сотрясения мозга?

– Не волнуйтесь, сотрясение прошло у нее бесследно. Очень удачно, с первого раза удалось все поставить на место. Откройте окно – это просто обморок от недостатка свежего воздуха, – распорядился Доктор, взял Веру за руку, стал считать пульс.

– Вера Викторовна! Вы меня слышите?

– Слышу! – ответила Вера и повернулась к нему лицом. – Я прошу вас... Не разрешайте ему больше приходить ко мне. Я прошу вас, Доктор! – Вера не сдержала слез.

– Быть по-вашему. Но... – он не договорил, а подумал: «Таких жен не бросают. Такие сами решают свою судьбу».

– Нет, Доктор, бросают именно таких, без пороха в пороховницах, – Вера натянуто улыбнулась. – Не бросают, может, такие, как вы, а такие, как он, бросают. Да-да, Доктор! Бросают! Чтобы самому свободно дышать и наслаждаться.

Лева протестовал, оправдывался. Доктор попытался успокоить Веру, примирить их, но тут же понял, что нужно уступить ей.

Целый месяц Вера жила, словно улитка, носила страшно неудобный гипсовый домик и старалась не высовываться. Обдумывала своё новое положение. Ждала доктора. Каждый раз хотела рассказать ему о странной, открывшейся ей возможности видеть насквозь, слышать мысли и каждый раз не решалась, откладывала на потом, боялась – не сумеет объяснить, боялась – не поверит он или того хуже – сочтет за сумасшедшую.

Лева настойчиво добивался ее милости. Она сдалась. И опять три гвоздики улыбались сконфуженно из кефирной бутылки.

– Ты хорошо выглядишь!.. Я очень рад! ... Ты у меня мужественная женщина... – Лева с усилием лепил необходимые

фразы, улыбался. Но слепленное из сырых слов и не обожженных горячим чувством разваливалось, превращалось в ничто под Вериным взглядом, «Была Вера – и нет ее, – читала она в глазах мужа. – Эта, на костылях, – чужая, жалкая до отвращения». Узнав такое, Вера содрогнулась – столь неожиданным было его определение. Лева, когда-то иступленно целовавший ее лицо, шею, плечи, грудь... ноги, теперь испытывает к ней отвращение и нисколько не сочувствует, не болеет ее болью.

– Я тебе принес сок... Твой любимый.... Персиковый... С мякотью, – говорил он, а Вера воспринимала совсем другое. Лева раскрывался перед ней, как ядовитый цветок, заманивший к себе совершенством формы и яркостью. Сейчас она презирала себя за то, как холила этот цветок, лелеяла, оберегала, сдувала пылинки... Прощай, Лева! Твой яд не смертелен, просто очень тошнит.

– Я думаю, доктор разрешит теперь выписаться. Дома тебе будет лучше... Веселее...

– Хочешь, я воспроизведу все, что ты подумал сейчас обо мне и о той, что счастливо вздыхает с тобой на моей постели? – Вера насмешливо, с превосходством остановила его.

Лева гневно вспыхнул, отскочил от кровати, на которой боком, неуклюже сидела Вера, выставив вперед свою гипсовую кочергу.

– С тобой невозможно разговаривать! Ты невыносимая! Бред больной фантазии!

– Терзаешься, кто мне настучал? – горячилась Вера. – Не терзайся: ты надежный конспиратор. Но с некоторых пор твои тайны, дай и не только твои, шиты для меня белыми нитками. Вернее, черными. Не понятно? И не поймешь. Верно только одно: наша любовь разбилась вместе со мной на одном из поворотов к счастью. Живи спокойно, если можешь. Я не вернусь к тебе...

Наступил день, когда Доктор разрешил Вере оставить гипсовый домик. Улиточная жизнь кончилась. Но сначала было страшно даже повернуться с боку на бок, не то что сделать шаг: а вдруг кости, привыкшие к панцирю, рассыплются.

Доктор, ссылаясь на рентгеновские снимки, убеждал не бояться давать костям нагрузку, ступать уверенно – иначе «сварка» раздробленных частей будет непрочной. Вера послушно и тщательно выполняла все его указания.

«Отлично!» – ставил он ей оценку, проверяя, насколько успешно выполнялись его наказы и пожелания.

Вера знала: он не кривил душой, говорил всё, как знал, чувствовал, предполагал, оценивал. Редкий дар.

Жизненный мир теперь несколько расширился: по вечерам Вера покидала своё «логово» и выходила в коридор, в дальнем конце которого зазывно урчал телевизор. Обитатели травматологического отделения – кто на коляске, кто, как и она, на костылях, – стягивались туда отвлечься от своих болячек. Веру тянуло другое: было занимательно ловить чужие взгляды и разгадывать мысли.

Увечные мужики и тут чувствовали себя хозяевами положения, приглядывались, примеривались то к одной, то к другой и, наконец, подбирали по вкусу, мысленно мяли, тискали, женское тело, распаялись до непристойности.

Женщины, несмотря ни на что, кокетничали тут, как и везде, для них главное – показать себя лучше, чем есть, произвести впечатление. До большего женские мысли не доходили, потому что интересы фокусировались прежде всего на доме-семье: сыты ли, мыты ли оставленные ими поневоле. Точно так же в свое время Верины мысли замыкались на Леве. Свет в окошке – вот кем был для нее Лева.

Занимало Веру и то, как к ней самой тут относятся, испытывала удовлетворение, когда думали о ней чисто и благожелательно, но порой хотелось отхлестать по щекам и наплевать в нахальные глаза любителей клубнички.

Вскоре желание выходить «в мир», к больничному телевизору, поисскало: тяжело было видеть обнаженную боль, оголенную, как электрический провод, злость – чуть кто дотронется не так, как надо, и грандиозное замыкание неотвратимо. Отчаяние в чужих сердцах зияло, словно сквозная рана, и кровоточило так, что не унять никакими медицинскими зажимами. Было неприятно, отвратительно полоскаться в грязных, очерняющих все и вся мыслях тех людей, которых боль не лечила, не исправляла, не делала мягче, а озлобляла, обостряла их недостатки.

«Когда же человек бывает хорошим? – задавала Вера себе вопрос. – Благополучие его развращает, натягивает до предела эгоистические струны, несчастье озлобляет, порождает зависть к благополучным, а потом и ненависть к ним. И те, и другие отрицают друг друга. На ком же держится мир? Только на таких, как Доктор?»

Вера подолгу размышляла о Докторе, искала случая заглянуть ему в глаза, когда он разговаривал с другими больными, диктовал медсестрам указания, и убеждалась: он не умел думать о людях плохо, не умел обманывать даже в добрых целях. Благожелательность у него в крови.

Вот за кем бы теперь она полетела на край света, и пусть бы опять истерично визжали на поворотах тормоза, она бы на них не обращала внимания.

Но Доктор не звал ее и даже не заманивал, он был из тех, полагала Вера, кто на звездном небе видит только одну звезду, ей молится, ее боготворит. Все остальные звезды для него не более, чем общий свет с небес. И если какая-то из них срывалась, падала, разбивалась в осколки, он тщательно и упорно собирал их, складывал, склеивал, сращивал, чтобы сорвавшаяся с высот снова могла занять свое пустующее место...

Вот и она, Вера, скоро займет свое пустующее место, но кто заполнит пустоту в ее душе? Даже лето – любимое время года прошло стороной. Померк солнечный свет. Лиловое,

вздохмаченное ветром ненастное облако зацепилось за оконную раму и надолго не предвещало ничего хорошего. Вера не подходила к окну – это ненастное облако втягивало в себя даль перед больничной площадкой. Не подходила еще и потому, что боялась увидеть Леву и в то же время хотела этого, но набрасывала на себя старательно узду. Он почти каждый вечер топчется перед окном ее палаты и ждет, когда она появится в окне, чтобы помахать ей рукой. Что это – мальчишество, любовь или показуха? Помашет и растворится вдаль, исчезнет за грудой домов. В одном из них его, вероятно, ждет другая, взятая напрокат. А может, и не ждет уже... Как круто все перевернулось, стоило только сойти с наезженной колеи. Как тряска. Как грязно. Как беспросветно и бесперспективно. Время и Доктор вылечили Верину ногу, загустевшая в суставах смазка почти размякла. Боль в ноге больше угадывалась, чем давала о себе знать. Прощаясь, Доктор советовал ходить с палочкой до тех пор, пока не забудется, что когда-то нога была гипсовой кочергой, пока не забудется про возможность боли.

Озера Вериных глаз, переполненные слезами благодарности, неотрывно устремлены на Доктора.

Сердце ее подскочило и взволнованно заколотилось, когда она поняла, что Доктор, давая наставления, подумал о ней не как о пациентке, а чуть теплее. И ее намерение рассказать при прощании ему о своем новом недуге, о возможности видеть насквозь, понимать чужие мысли, тут же угадала: ведь он подумал о ней чуть теплее, чем всегда, он потянулся к ней, но тайно, и нельзя было допустить, чтобы он понял, что она проникла в эту тайну, словно воришка, которому не видеть удачи. Она не воришка, не крадет чужих тайн, они сами ей раскрываются, но она не пользуется украденным в целях своего блага. Лева приехал за ней на той самой «Ладе», на которой Вера не вписалась в поворот, когда летела к своему счастью. «Ладу», как и Веру, лечили опытные мастера только не в больнице, а в автосервисе, и кроме всего – за деньги, на которые

можно купить новый «Запорожец»: у мастеров золотые лапы и золотые горла, ящик водки – это главный стимул успешного завершения работ. Лева рассказывал Вере про свои мытарства с «Ладой» по дороге домой. Он вел себя так, как будто и не было между ними размолвок.

– Твой Доктор.

– Что Доктор? – встрепенулась Вера.

– Твой Доктор – порядочный человек.

– А ты?

– Я – тоже, – Лева чуть помедлил и произнес с растяжкой, – порядочный. Потому что я не могу без тебя.

Вера старалась не глядеть ему в глаза, чтобы не выскочить на ходу из машины. Выскакивать ей, кроме как на тот свет, было некуда. Общая крыша слевой – единственный вариант существования под небом.

Лето кончилось. Опадающая листва обреченно бросалась под колеса машины. Никто не обращал внимания на обреченность, парящую в воздухе, и равнодушно затаптывали листья. Занятые дневными заботами, обязанностями, потребностями своего живота, люди не замечали, что колеса времени подминают под себя и царей положения, и их вынужденных прислужников, и добровольных прихлебателей одинаково просто, не учитывая ни семи пядей во лбу, ни трех звезд на груди. Люди – листья. Отцвели-отшумели на разных ветрах – и на грязную землю упали, и сами стали землей. А кто же попадет на страницы гербария? А кто уже попал?

Из окна машины Вера наблюдала грустную уличную картину и размышляла о своей очередной поре в жизни.

Еще один поворот, и машина остановилась в тупике перед домом. Лева бережно поддерживал жену под локоть, когда поднимались по лестнице. Дома было чисто, но холодно.

Левины глаза радовались: жена дома, все по-прежнему. Страх, что Вера останется калеккой на всю жизнь, камнем на шее повиснет, больше не чернил его душу. Теперь Лева мог шутить,

подбадривая этим Веру, но теплее от этого не становилось. Когда подкатывало желание, он был готов опять целовать жену с головы до пят, и Вера отдавалась ему, но равнодушно, будто выполняла черную, жизненно необходимую работу. Его горячий взгляд не вызывал ответной волны, потому что знала: он так же старался зажечь ответным желанием и ту другую, которая служила ему в постели, и, наверное, испытывал блаженство, пока Верина нога срасталась под присмотром Доктора в больнице. Лева невольно вспоминал о той, заменявшей ему Веру, и сравнивал их обеих. И хотя сравнения получались в пользу Веры, она все равно ожесточалась – инстинктивно давало знать о себе женское самолюбие, чувство собственности. Он недоумевал, что служило причиной превращения жены в ежа, и тоже выпускал иголки, если не для ответной атаки, то для самообороны.

Все чаще и чаще выпадали вечера, когда они – два ежа с распущенными иголками – расходились по разным углам.

Лева... Вере было жалко его, когда случалось такое, и больно за себя. Там, в больнице, она сравнивала его с ядовитым цветком. Смешно и глупо. Он не ядовитый, он обыкновенный, только прихотливый: на жесткой, неудобренной почве цвести не будет.

«А если бы я вернулась домой без ноги, – задавала себе жуткий вопрос. – Тогда бы наверняка он сделал так, как удобно ему самому, – ушел к той, которая тешила его без меня здесь. А может, к другой какой – чтобы цвести, красоваться.

Но ведь и я не чище его. У него нет моего преимущества, и он никогда не узнает, как, лежа с ним в одной постели, роюсь в его мыслях, определяю свое место в его сердце, как душа моя рвется к другому. И позови он меня – пойду, куда поведет. Но он из тех, кто молятся одной звезде. Пусть даже если мне это лишь кажется. Должно же быть где-то чистое и святое. Я и Лева только разыгрывали верных друг другу или принимали игру за явь.

Прости меня, Лева! Грешник грешнику глаз не колет» ...

Опираясь на палочку, — велика была боязнь, что нога может нечаянно подломиться, — Вера выходила в уличную толпу. Раньше, когда она сама органично сливалась с толпой, не замечала, что людской поток жесток и равнодушен к тем, кто не вписывается в него. Теперь Веру обгоняли, толкая, били сумками по ногам, и если бы она упала, толпа протекла бы по ней дальше. Да уж воистину: чтобы жить в этой жизни, надо иметь бока железные и железное сердце.

Вера вглядывалась в людские лица, надеясь отыскать похожих на Доктора, чистых и праведных. Пробовала останавливать приглянувшихся ей, чтобы задать какой-нибудь незначительный вопрос и тем самым раскрыть человека.

Идет навстречу божья коровка с выражением покорности и благожелательности на лице, глаза в глаза — и становится ясно, что у божьей коровки нутро людоедки. Глаза в глаза — и маска любезности растворяется в месиве ненависти и презрения.

Глаза в глаза — и интеллигент с вкрадчивым бархатным голосом оборачивается похабником.

Но чаще всего прохожие на нее, на женщину с палочкой, смотрели, как на ничто, и устремлялись дальше, поглощенные своими заботами.

Со знакомыми было не легче. Оборотни с приветливыми улыбками, завораживающим взглядом. С милыми жестами, располагающими доверяться. Со сладкими словами — так и сыплется карамель. Внешне, как и полагается, заманчиво и сладко, но попробуй раскуси — начинка из горчицы. Раскусывать дано не всем, только избранныкам судьбы. Вера сначала с любопытством раскусывала все сладкое, подносимое ей так щедро другими, и.... дораскусывалась. Не просто набила оскомину, а объелась. Горечь. Сплошная горечь.

Ночами анализировала наблюдения, черта, которую подводила под своими разгадками, оказывалась чернее черной:

получалось – каждый ненавидит другого столь же определенно, сколько все остальные ненавидят его.

Законы взаимопритяжения действуют, пока стороны не знают тайных мыслей друг друга, корыстных намерений, эгоистичных побуждений, а как только узнают или хотя бы догадаются, начинается процесс взаимоотталкивания, нередко кончающийся бунтом оскорбленных, опороченных или выведенных на чистую воду.

Но нет ничего страшнее, чем выворачивать человека наизнанку и видеть его нутро, изъеденное всевозможными язвами. Чистые, искренние, способные на самоотречение во имя добра – как жемчужины в океане, которые наудачу попадают в разные руки. В грязных руках и жемчужина тускнеет, утрачивает первоначальную драгоценность...

Хождение в народ с каждым разом становилось тягостнее.

Сгорбленный под тяжестью ненависти мир шел рядом с Верой по улице, стоял в очередях за булкой хлеба и пакетиком молока. Доброта, выхолощенная из душ благополучных, сытых и довольных своей сытостью, ютилась в душах людей, битых невзгодами, истерзанных недугами. Очереди обесчеловечивали и этих людей: в давке душа вытеснялась из тела, оставалась только злоба – как защитная реакция беспомощных.

Облетевшие деревья – сухие и жалкие — вздрагивали под хлопками холодного ветра. Промежуток от последних, упавших наземь листьев до первого снега затягивался и превращался в безвременье.

Тягостное настроение безвременья витало в воздухе, удручало, озадачивало, угнетало.

Вера металась душой, искала берег, к которому можно было прибиться и обрести покой.

Лева страдал от того, что ей жилось беспокойно, старался развлечь жену, раздобывал гвоздики, устраивал поездки на природу, к реке – попить чаю на холодном, освежающем ветру, посидеть у костра, отдавая огню свои тревожные мысли и

очищаясь. Лева по-прежнему любил ее одну, хотя во время размолвок, Вера видела это по его глазам, ему вспоминалась та, которой он ничем не был обязан.

А Вере иногда хотелось вернуться в белую палату с обвислыми крыльями занавесей, лечь на ту самую, с деревянным щитом кровать и ждать того момента, когда откроется дверь и войдет Доктор – человек, у которого самые чистые глаза и добрые помыслы, и она услышит: «Вы – умница, Вера Викторовна. Хорошая помощница. Без вашего участия я бы не справился так успешно с вашей бедой». И подумал бы: «О, какие чистые, живые озера!.. Опрокинуться в них – счастье!»

Вере вспомнилось, как его пальцы сжимали ее кисть, прослушивая пульс, чуткие, теплые ладони скользили по ноге, прощупывая больные места, проверяли, легка ли подвижность суставов от стопы до бедра. Тогда он не воспринимал как женщину, под его руками был только рабочий материал. И лишь при прощании у него проискрилась мысль, что опрокинуться в озера ее глаз, отразиться в них – счастье. Это было самое приятное воспоминание, заставлявшее сердце стучать несколько убыстренней.

А что если бы он прочел мои мысли? И пусть, что он молится одной звезде... Грех это мой или нет? А если и грех, что значит он в пучине греховности всех прочих?.. – на все эти и подобные им вопросы Вера не знала ответов.

По улицам теперь приходилось ходить с опущенными глазами – так легче среди людей. Вера снова готова была обманываться, – в этом есть своя сладость, – как прежде, жить в неведении, полагаясь на чувство и интуицию. А приходилось ходить с опущенными глазами.

Однажды дорога вывела ее к тому единственному месту можно легко и с надеждой обратить глаза к небу, развеять душевную смуту, обрести самоотверженность.

«Святой Боже, Святой крепкий, Святой бессмертный, помилуй нас!» – волна многоголосого обращения к Тому, Кто стоит над всем Миром и очищает дух от скверны, то взмывала к потолку деревянного строения, приспособленного под церковь, то вновь упала. И Вера чувствовала себя то окрыленной, способной постичь что-то небывалое для себя, то приземленной, пригвожденной к затоптанному полу, и от того жалкой, лишенной света и любви.

В руке плакала свеча. Горячие слезы ее скатывались на пальцы и застывали.

Вера глядела на маленькое огненное копье в руке и хотела, чтобы оно вонзилось в сердце, в душу, растопило ее недуг.

Тесно рядом с нею стояли пожилые, одетые в обыденное женщины, крестились и взывали к Богу, молились за спасение души своей и ближних своих, просили отпущения грехов. В их грубых руках с набрякшими жилами тоже плакали свечи.

«Велики ли грехи у человека, проведшего жизнь в тяжком труде?» – думалось Вере.

Заканчивая службу, настоятель обратился к прихожанам с предложением-воззванием, кто сколько может, помочь всехристианскому делу – восстановлению Храма Христа Спасителя в Москве, стертого с лица земли хриstopродавцами.

– Уничтожив святыни христианского духа, мир изолгался, заворовался, одичал. Пьянство, сквернословие, разврат – вот худой сосуд, из которого проистекают все наши беды.

Да святится имя воскресшего к добру!

Да пребудет благодать в сердцах, откликнувшихся на призыв всенародный!

Да благословит вас Бог на святое подвижничество!»

Дорога из церкви до дома показалась Вере короткой. Обрадовалась: в тупичке двора стояла их разбитая и возрожденная к жизни «Лада». Лева дома. Слава Богу!

Лева ждал ее, встревоженный долгим отсутствием. Глаза в глаза – и Вера поняла, что он на самом деле очень волновался.

– Где я была – ты хочешь спросить?

Лева потянулся губами к ее щеке и стал расстегивать пальто, сапоги он тоже, когда был дома, застегивал и расстегивал ей сам и делал это от души, боясь за больную Верину ногу.

– Нет-нет, – на этот раз Вера отвела его руки. – Одевайся. Машина у подъезда –хорошо. Мне нужно срочно снять с книжки три тысячи.

Лева замялся.

– Как? У нас же?.. – Вера испытующе посмотрела на него.

– Почти четыре тысячи ушло на «Ладу». А три с половиной я дал твоему Доктору... Чтобы палату отдельную для тебя... Надлежащий уход... Лечение... Остальное...

Лева сказал это обыденным голосом, как нечто само собой разумеющееся, положенное жизненными правилами нынешнего дня.

Но сказанное для Веры оказалось той шаровой молнией, которая разносит в щепки любовно взращенное дерево.

Ошарашенная, Вера смотрела на Леву во все глаза и чувствовала, как ускользает куда-то ее способность видеть насквозь.

– Твой доктор...

– Что? Доктор? – простила она на высокой, срывающейся ноте.

– Очень порядочный человек...

Ноябрь-декабрь, 1991 год.



«УЖО ВОЗДАСТЯ...»

«Злые силы существуют не сами по себе. Они – следствие человеческой слабости или дурости. Они – проявление несовершенства природы», – это выводы из дневника моей подруги, и я с ней согласна.

Первым олицетворением такого несовершенства был для нас злой петух. Он, как собака, всегда настороже: скосит круглые по копейке глаза в сторону жертвы, нальет их медной злобой, для устрашения взьерошит на шее воронкой перья, оттопырит от круглых боков крылья и, топоча, пойдет на тебя, чтобы долбануть клювом, словно обутом в железный наконечник. Тут уж бей его чем попало: не то разъярится и заклюет до крови.

Этот петух зорко пас курочек в одном из домов окраины, мимо которых пролегла дорога в нашу школу. Асфальта еще не было, и в непогоду приходилось выискивать местечки покаменистее, чтобы не увязнуть, не зачерпнуть в ботинки «жигеляги». Но эта беда – полбеда. Беда, когда рыжий, горящий ненавистью петух выскакивал из-за палисада и, разбрызгивая грязь, устремлялся к группке девчонок. Визг, смех, проклятья, и группка рассыпалась. Оставалась посреди дороги только моя подруга. Дать стрекача, весело размахивая портфелем, отпрыгнуть бы в сторону, да ноги не слушаются. Ее ноги не умеют бегать, прыгать, они только с трудом, тихим неровным шагом несут юную хозяйку, подкашиваются от самого незначительного толчка, спотыкаются о кочки-камешки. Подруга застывала перед топочущим петухом, выставив, словно щит, голубой портфельчик. Петух старался изловчиться, подпрыгнуть и клюнуть в руки, чтобы выпал голубой ненадежный щит. В этот момент в моих руках оказывались палка, прут, камень – и петух поджимал растопыренные крылья.

Злоба еще клокотала в его выпяченном зобу, но трусость была сильнее и увлекала драчуна к спасительной подворотне, в хоровод несушек. Я – в роли хранительницы – брала подругу за руку.

Запись в дневнике подруги

«Несусветный дурачок этот рыжий налетчик: страх за квочек, как колокольчик в его куриных мозгах. Идут – орут – ржут молодые лошадки – колокольчик дерг-дерг, и петух уже готов встать грудью за своих дуручек. Ужасно воинственный вид. Когда все разбегутся, я с ним один на один, упрусь пятками в землю, зубами вцеплюсь в воздух – только бы в глаз не клюнул, а так, – черт с ним, пусть потешится. Но петух, я заметила, не так жесток, как кажется, у него есть черта дозволенного: он словно упирается в нее и подпрыгивает, тряся бородой и выстрочив клюв где-то шагах в полтора от меня. Тут подоспевает Зоя с прутом, и он, довольный произведенным впечатлением грозной силы, отступает. Несусветный дурачок.

Бабушка научила меня заклинанию: «Дурной глаз, сгинь от нас, прыг да скок – дьяволу в бок, мило не мило – с нами крестная сила, спаситель Бог!».

Господи, спаси меня, защити! Петух – это досадно и смешно. Господи, защити меня от Ваньки Кляпа! Покарай его, если ты есть!

Бабушка говорит: «Бог дал человеку сердце и честный разум. Поддастся человек дьявольским хитростям – и вот тебе в подарок злое сердце, коварные мысли. Сумеешь укротить их в себе – будет счастливое вознаграждение, не сумеешь – расплата не за горами: как ни увертывайся – настигнет не в молодости, так в старости». Я спрашиваю бабушку: «А меня тоже Бог наказал?»

«Что ты, дитяtko! Тебе было шесть лет – непорочное младенчество. Какая кара? Бог с тобой! Испытание это жизненное. Не закаменеет твое сердце – будет тебе большое

счастье... *Счастье, дитяtko, не только быстрые ноги». Бабушка долго и пространно втолковывает мне жизненные правила.*

Многое пролетает мимо моих ушей: бабушка, как прялка, шуришит и шуришит, но ее жизненные нити не наматываются на мое веретено, а свои путаются, рвутся – не связать концов.

«Петух? Тоже испытание мне?» – насмешливо спрашиваю ее, и не петух вовсе досада моя, а Ванька Кляп.

«Как знать?!» – то ли спрашивает, то ли утверждает бабушка. – «Петуха-то чего бояться? Скажи три раза «дурной глаз»», - и она вдохновенно учит меня заклинанию. Но всякий раз, как рыжий хозяин кур насакивает на нас, заклинание вылетает из головы. Зоин прут – это ему заклинание. Да, петух – это досадно и смешно.

А что, если я расскажу бабушке про Ваньку? Нет, стыдно за него. Господи! Если ты есть! – ты видишь, знаешь. Что я ему сделала?

Ах, Бабушка! Если бы твое заклинание возымело силу против Ваньки! Хоть про себя тверди, хоть на весь мир кричи – все без толку».

13 октября 1981 г.

Ванька Кляпинин прозвищу Кляп, из параллельного 10Б с фигурой штангиста: если его широкие, налитые силой плечи обозначить прямой линией и соединить концы двумя линиями в области талии, то получится равнобедренный треугольник на длинных и сильных ногах. Плечи венчает красивая голова, карие глаза под кудрявым черным навесом волос вьедливо-насмешливые. Если посмотреть свежим глазом, можно признать его красавцем, а если – привычным, то красота стирается, лицо предстает заурядным и даже отвратительным. Ванькина манера брезгливо выворачивать налитые красным соком губы и выплевывать слова способствовали этому отвращению. Так считали тогда я и моя подруга. Хотя – были девчонки, которые

бегали за ним, одна другую перехлестывая. Ваньке это льстило, делало его на две головы выше других мальчишек, но и не мешало ему брезгливо бросать в пылающее любовью девчачье лицо: «Мокрохвостка!».

До десятого класса мы, «ашники», особо и не замечали его: ну, есть он среди «бэшников» – ну и пусть есть, нет его – ну и пусть нет. Он тоже не досаждал особо, если не считать по мелочам.

А в начале десятого что-то перевернулось: Ванька зачистил в наш класс на переменках. Ему стало в удовольствие издеваться над моей подругой. Репертуар издевок был почти всегда один и тот же.

«Эй, Колченожка», – выплевывал он насмешливо. – «Пойдешь за меня замуж? Хороша парочка – баран да ярочка! Хром-хром!» – и Ванька, ковыляя, делал круг по классу.

От петуха на улице мы рассыпались в разные стороны, на Ваньку же дружно налетали с кулаками: «Дурак! Горилла! Губошлеп! Сыч! Дубина!» – сыпали ему каждая свое определение. Он разворачивался вокруг своей оси, разводил руки в стороны, словно рычаги: «Брысь, мокрохвостки! Размажу по стенкам!» И мы отлетали, но не сдавались.

Моя бедная подруга отворачивалась к окну, втягивала голову в плечи, словно защищалась от ударов, и деревенела.

«Подумай, Колченожка! Завтра приду за ответом!» – И Ванька, поведя круглыми плечами, спокойно удалялся за дверь.

Я подсаживалась на парту к подруге, прижималась к ней и тоже упирала взгляд в окно. От бессилия закипали солидарные слезы.

– Ну, что я ему сделала, Зоя? – отчаянно спрашивала они меня. – Ну, что?

– Дурак! Вымахал под потолок, а ума меньше, чем у петуха! Дурак! Что с него возьмешь? Дураков бить надо – от палки они смиреют, – всхлипывала я.

Но бить Ваньку было некому. В нашем классе на восемнадцать девчонок осталось два парня, да и тех парнями назвать – значит польстить им. Худосочные, потерявшие рост и способность к возмужанию где-то в восьмом классе. Мы были беззащитны и перед петухом, и перед Ванькой, который намного зловреднее петуха. Тот, понятно, оберегал честь своего куриного гарема. А этот? Чего добивался?

В школьном коридоре, увидев подругу, он бросал той под ноги какого-нибудь первоклашку, а потом картинно стоял в стороне и похохатывал, пока мы под шумок зевак хлопотали около нее, помогая подняться.

Запись в дневнике подруги

«Вот и конец моим терзаниям. Сижу спокойно на диване и нянчу гипсовую ногу. И даже не кляню Ваньку. Хорошо постарался, чтобы я не мозолила ему глаза. Боже! Лучшие бы голову сломать, когда летела со ступенек. Вот бы он возликовал, да и меня освободил бы от существования. Зоя говорит, что он сам поднял меня и отнес на диванчик в учительскую. Садизм в сочетании с великодушием – букет чувств дикаря. В тот миг я словно в яму провалилась: только боль – и больше ничего и никого. Пришла в себя в машине скорой помощи.

Бабушка все теперь знает о Ваньке. Зоя рассказала. Зачем? Мне не легче от воркотни: «Потерпи, дитяtko! Ужо воздастся ему, извергу! Не допустил Спаситель, чтоб ты совсем лишилась ноженьки. Слава Богу, только трещинка. Холодец ешь, дитяtko: как воском, зальет уцербинку. Зарубцуются – позабудется».

Этот холодец из телячьих ног (бабушка зорко следит, чтоб я съедала все до капельки) опротивел, как и Ванька. Ем – вырабатываю умение надевать на свои чувства смирительную рубашку и подчиняться обстоятельствам. Кто знает, сколько еще разных «кляпов» впереди на моем пути.

Зоя вычитала проект какого-то писателя (жаль, она забыла фамилию автора, для нее важно, что написано и как, а кем – это уже мало значит). Проект довольно-таки жесткий: изловить воров, убийц, садистов, беспробудных дураков и пьяниц, запереть их в трюм огромной баржи и затопить где-то посреди океана. Интересно, сколько же потребуется барж? Шанс на исправление тоже потоплен. Смогу ли я замкнуть замок на трюме баржи, в которую затолкнут Кляпа? Нет. Неужели мне жалко его? Нет, не жалко! Но пусть живет. Мешает он только мне. Я – не как все, он и относится ко мне не как ко всем. Есть, оказывается, такая категория людей которые не могут не быть агрессивными по отношению к тому, что выходит из норм обычного – привычно-стереотипного. Я для таких исключение из общего правила природы. Я – вывих в гармонии природы. Хотелось б знать, дрогнет ли рука Кляпа, если ему выпадет замыкать трюм, когда люди захотят избавиться от таких, как я, засадят в баржу, чтобы не мешали счастливому созерцанию мира, и затопят посреди океана.

«Не горюй, дитяtko, – успокаивает меня бабушка, видя, что я упёрлась взглядом в окно. – Ужо воздастся ему, извергу».

Бабушкино «Ужо» – это вечер, завтрашний день, год и даже десятилетие...

17 декабря 1981 г.

Ваньке после этой истории вынесли общее порицание на открытом педсовете, надрывно объяснили, что такое хорошо и что такое плохо, и исключили из школы.

– Как ты думаешь жить дальше, Кляпинин? – риторично с черной окраской обреченности спросила классная руководительница.

– Обыкновенно! – усмехнулся он, выворачивая налитые кровью губы.

– Вкалывать буду. Руки – вот они! – и выбросил вперед свои рычаги с крупными ладонями: только кувалдой орудовать.

– Полгода осталось до аттестата, – сочувствующе заметил кто-то из учителей.

– Обойдусь без вашего паршивого аттестата...

Избавление от тягот, мешающих жить, – всегда радость. Наша радость была обременена горькими воспоминаниями о стычках с Ванькой, но, как и следует быть, принесла возможность легких веселых передышек на переменах.

Подруга словно подзабыла о своем несчастье и, месяц спустя, втянулась в общую школьную жизнь, о которой потом мы будем вспоминать, как о неповторимом празднике. Чисто символическое наказание двойкой за нерадение к знаниям, вносившее драматический разлад в гармонию существования юности, утратит свою остроту и превратится в шуточный, хоть и несколько притененный штрих этого праздника. Соль наказаний, которые преподнесет нам взрослая жизнь, будет едучей и острой. Но мы этого пока не ведали и отчаянно воевали с таким исчадьем ада, как петух, хотя и злобный петушиный пыл поutih в зимнее время.

Ближе к весне агрессия петуха пробудилась, и мы прихватывали с собой пруты, чтобы драчун позорно утекал к подворотне.

К этому же времени «вспомнил» про нас и Ванька. Он неожиданно, когда мы возвращались с уроков, вывернулся из-за угла петушиного дома, врезался в нашу девчачью кучку и остолбенел перед подругой, побледневшей и потерявшейя. Я встала рядом с ней, готовая обрушить свой портфель на его красивую, но дурную голову.

– Ну, что? Цаца на хромой ноге! Теперь-то пойдешь за меня замуж?

– Вот они, денежки! – Ванька разжал кулак: смятые десятирублевки заворочались на его лопате-ладони. – Прокормлю! Нахлебница с аттестатом.

Он как-то по-взрослому гадко двумя пальцами коснулся подбородка подруги, приподнял, запрокидывая ей голову и заглянул насмешливо в глаза.

– Куда ты еще годишься? Цаца.

– Убери руки, – она сощурила сырые с голубой поволокой глаза, нахмурила высокий лоб. – Не будь жалким ничтожеством. Работаеть – ну и работай на здоровье. Тебе руки служат, а мне послужит голова. Уйди с дороги.

Молчаливо покорные слезы воодушевили бы Ваньку на новые гадости. Но слез не было. Подруга обрела себя, словно умылась из ручейка уверенности и, как листовку на лоб, припечатала ему спокойные слова. И он посторонился. Дал нам вольную. Тогда мы не знали, а если бы и узнали, то не смогли бы понять: хозяин уступил дорогу рабыне, потому что любил ее.

Неожиданно для самого Ваньки любовь к красивой, но хромящей девушке явилась для него болью. Боль впивалась в самолюбивое сердце и ожесточала хозяина. Боль понуждала его к издевкам, но издевался он не только над моей подругой, издевался он и над собственным чувством, которое мешало ему упиваться своим физическим здоровьем. Прояснилось это, когда мы далеко шагнули по жизни от школьного порога и научились мало-помалу распутывать жизненные хитросплетения прошлых лет, а в настоящих и по сей день плутаем.

Но тогда, отшив Ваньку, мы праздновали победу.

Запись в дневнике подруги

«Я ловлю солнце. На дымных ладонях рассвета оно выкатывается из-за лесной гряды, подобной короне над простецким челом нашего города, и заполняет до отказа мое окно. Комната превращается в светлицу. Если бы не было солнца, не стоило бы и жить. Оно растворяет в себе черные краски моего настроения, обнадеживает.

Вот к какому выводу я пришла: человеческое устройство подобно миру Природы: есть люди – ночь с ее порочными

страстями, и есть люди – день, яркие, как солнце, и благожелательные. Солнце – это моя Зоя, доброе сердце и зоркое око, моя Амазонка, готовая сразиться за меня с чудовищем. Солнце – это и моя хлопотливая бабушка, суеверная клуша, только цыпа ее, хоть и на испорченной ноге, но упрямо старается вывернуться из-под старого уютного крылышка. Неблагодарная цыпа. Остальные на моем пути, скорее всего, для того, чтобы я научилась даже с завязанными глазами угадывать, выбирать верную тропку в ночных хитросплетениях.

Ванька Кляп – для меня ночь, темная, непонятная, поглощающая счастливый свет, ночь, похожая на дурной сон.

Бабушка говорит: «Страшен сон, да милостив Бог». Поэтому – да здравствует Солнце!

Апрель, 1982 г.

Время, отклонившись от школьного порога, молниеносно отмахало своими крыльями шесть с лишним лет. Привязанности юности поослабли, дружеские связи несоединимо разорвались, радости и обиды тех лет растворились в новых, уготованных нам для разнообразия. Многие из наших девчонок обзавелись мужьями и пестуют свое продолжение.

Моя подруга закончила университет и поступила в аспирантуру. По великим праздникам мы обмениваемся открытками, желаем друг другу счастья, здоровья, в двух-трех словах делимся новостями.

Я, получив диплом преподавателя истории, пришла опять в нашу школу, встала за учительский стол. Парта у окна, за которой сидели мы с подругой, напоминает мне об ученической поре, нашем коротком празднике, и даже грозный петух (кстати, теперь курочек в том дворе пасет белый инкубаторский увалень), и даже наглый Ванька не могли омрачить общего светлого впечатления.

Круто закипела моя новая жизнь, наполненная незнакомыми голосами настоящего. Но однажды, совсем неожиданно для меня прорвался голос из прошлого и зазвучал в телефонной трубке смущенно и просительно:

– Зоя? Или – как тебя величают, Зоя Ивановна?

Голос, несколько продутый жизненными сквозняками, принадлежал Ваньке Кляпу. Я узнала его сразу и даже вздрогнула, словно оса метнулась к уху из трубки и намеревалась ужалить. Ванька долго и путано, и непривычно извинялся, что потревожил мою персону в рабочее время, потом еще более путано и тревожно просил меня зайти к нему поговорить.

– Тебе надо, ты и приходи, – отрезала я с запальчивостью пятнадцатилетних, но сразу вспомнила, кто я теперь, и устыдилась, и поправила себя. – В семь часов у школьного крыльца я жду тебя.

– Зоя! Я не могу... Такая вот петрушка... Я прошу тебя. Приди ко мне. В любое время.

Эта «петрушка», произнесенная с горечью, погасила мою строптивость, и я согласилась забежать на минуту после уроков.

Ближе к вечеру неохотно постучалась в неплотно прикрытую дверь его квартиры.

– Открыто! – слышался из глубины Ванькин басок. – Открыто. Заходите.

«Вот наглец! Мог бы и встретить», – обожгло меня, но тут же утихло. Я толкнула дверь.

– Зоя! Это ты? Раздевайся и проходи... Пожалуйста!

Толкая дверь, я собиралась отчитать Ваньку прямо с порога, внушить простейшие правила этикета: пригласил в гости – так и встретить, как полагается. Ванькино «пожалуйста» заставило меня смолчать, может, сработала интуиция: здесь что-то не ладно.

Минуту спустя, онемев от неожиданности, я стояла посреди комнаты и смотрела на Ваньку, распростертого на необычной кровати: от спинки к спинке тянулось никелированное

приспособление в виде турника. На этом подобие турника крепились какие-то колесики с ременными приводами. Ванька ухватился своими руками-рычагами за один из ремней, подтянулся и сел, улыбаясь темными, как зимняя вишня, губами.

– Ну как? Твоя подруга теперь пойдет за меня замуж? – он хохотнул, издеваясь над собой.

– Как это тебя угораздило, – не придумала я лучшего вопроса.

– Штанга проклятая! Выжал, но не удержал: руки мне заломила, хрясь по позвоночнику – и капец.

– Как же теперь? – от неожиданности я продолжала задавать глупые вопросы.

– Что теперь? Костыли обеспечены надолго, а может, и навсегда... Зоя! Помоги мне с экзаменами экстерном. Пора и мне поумнеть. Да и ученая подруга твоя за неуча не пойдет вовсе, коль за дурака не согласилась.

– Замужем она, Ваня! И перестань фиглярничать, – назидательно, как своим ученикам, приказала я.

– Знаю, что замужем... А для меня единственная жена теперь – институт. Поможешь? У тебя же доброе сердце.

– Насчет доброго сердца замнем для ясности, – вспомнилось мне изречение из школьного лексикона наших лет. – Завтра принесу программу за среднюю школу.

Ванька закурил. Плотные кольца дыма, словно призрачные диски штанги, отлетали к форточке и растворялись за ее пределами. А в комнате оставалась боль. Она совершала свое обычное дело: очищала душу от скверны и учила дружить с надеждой.

1990 год.



ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ

*На бегу меня тяжкой дланью
Схватила за волосы судьба.*

Марина Цветаева

Черный квадрат на белом фоне. Это «суперкартина» художника Малевича, а если еще точнее, – это моя судьба. Я не из тех притворщиков, которые громогласно объявляют, что им доступна разгадка тайного смысла картины, и наперебой расхваливают свои способности проникать в глубины художественного воплощения. Я просто-напросто впиваюсь глазами в аспидную гладь квадрата и вижу то, что дано увидеть только мне. В самом центре из разъятой черноты вырисовывается светлая, в знойных кудряшках голова зеленоглазой девочки. Она восторженно озирает открывающийся ей мир, светло улыбается, предвкушая возможность сорваться с места и без оглядки бежать вперед, подминая ножками землю, украшенную зеленью и цветами. И сама девочка похожа на цветок, ей только бы расти без нужды и печали. Над ее головой бездонное небо. Оно бывает ясно и улыбочиво в самые горькие минуты, переживаемые землей, и грозно и неумолимо жестоко, когда земле хочется смеяться. Девочке еще не пришло обращать на небо внимание, ей легко и весело на земле.

«Не дите, а ангел! Какая хорошенькая! Чудо, а не ребенок!» Девочка еще не знает, что все эти сладкие слова называются комплиментами и что адресованы они ее маме. Девочка не знает и того, что взрослые умеют говорить одно, а думать другое. «Ангел, – вслух, а про себя, – фу, какой противный ребенок, несносная девчонка, полазучка, ублюдок» и еще как-нибудь. Да, взрослые способны на беспощадный, несправедливый приговор.

Этим они мстят маленькому человечку за то, что сами давно не дети, за то, что забыли, как в стремлении познать все на вкус или на ощупь, расстраивали животишки, ушибались, обмороживали, обжигали пальчики. А еще они мстят за то, что разучились доверчиво улыбаться. Теперь они улыбаются, чтобы произвести хорошее впечатление на нужного человека, выглядеть лучше, добрее, счастливее, чем на самом деле.

Девочка из проема черного квадрата улыбается доверчиво и радостно, а рядом, почти как на старинной фотографии, мама – радостная и довольная, что произвела на свет такого ангелочка. Девочка – это я. Мне хорошо, весело, счастливо, потому что за руку меня держит та, лучше которой никого нет на белом свете...

Боже, как пронизателен художник-время. Чуть-чуть в сторону от центра, примерно на три с половиной года по прямой, – другая картина. Мама склонилась над расprostертым тельцем белокурого ангела. Личико девочки краснеет на белой подушке, словно омытое кровью. С лобика скатываются крупные капли пота, а из маминых глаз такие же крупные слезы. Мама то и дело прикладывает губами к воспаленному лобуку, и сердце ее стынет: температура который день держится за 39, такого не вынести и взрослому.

Истаяла надежда на всемогущество докторов, и мама обратилась к Богу: «Всемиловитивейший! Сжался! Возьми лучше меня! Буду служить тебе верой и правдой! Спаси мою крошку! Зачем тебе это безгрешное существо! Спаси ее, Господи! Спаси и помилуй!»

К маме подступает бабушка: «Дай Господу зарок, что окрестишь дитя, если выживет, и наречешь русским именем (по записи в ЗАГСе я – Инга). Негоже русское сердечко пускать в путь по жизни в чужеродной рубашоночке, надень на нее хоть простенькую, домотканую, но свою. Не то все молнии будут только в неё метить».

Мама клянется бабушке и Богу, что окрестит меня в церкви и наречет русским именем – Ангелиной.

Церковный батюшка не поперечил маме – Ангелина так Ангелина. Он только немало удивился, наверное, когда девочка с ангельским личиком вцепилась ему в бороду и заорала благим матом, задрыгала ногами, пытаясь вырваться. Вот вам и Ангелина. Всем улыбалась, а Божьего служителя испугалась, отторгла от своего глупого сердечка. Так будь же ты проклята и наказана за это до тех пор, пока не осознаешь своей вины и не выразишь послушания.

Я не утверждаю, что именно так подумал церковный батюшка. Но если не так, то откуда же все, что мне пришлось пережить, перестрадать и ясно увидеть выход? Когда человеку шесть лет, для него самое главное солнышко – мама. Тепло, уютно, безопасно рядом с ней. И вдруг, непонятно почему мама перестает слышать тебя, живо откликаться на твой призывной плач. Она лежит, странно вытянувшись на деревянной лавке, покрытой ковровой дорожкой и не хочет просыпаться. В мамины спящие руки воткнута свеча. Клинышек пламени дразнит меня своей веселостью. Я выхватываю свечу и быстро подсовываю пламя под мамину холодную ладонь: мама почувствует, что ей горячо и проснется, пусть отхлопает меня, но зато проснется.

Вспыхивает рукав маминого розового платья. Бабушка с криком оборачивается, она читала молитвы, обратившись лицом в угол, срывает со своей головы черный платок и сбивает пламя, потом падает грудью на мамины скрещенные руки и громко причитает, захлебываясь слезами: «Доченька моя! Намолила смертыньку на свое ретивое сердечушко! На кого ты спокинула старого да малого? Как нам век без тебя, голубонька, вековать? Разомкни уста сахарные накажи-подскажи-посоветывай! О-ох! О-ох!»

Я заражаюсь отчаянием бабушки, пронзительный мой рев заставляет ее очнуться, опомниться. Она отрывается от мамы,

прижимает меня к себе: «Из-за тебя, прибудное семя, горюшко на мою седую голову! Из-за тебя! Да не бойся, не дрожи! Пока я жива, сыта будешь!»

Я впиваюсь глазами в черный квадрат, в то место, где запечатлен факел, взметнувшийся от рукава маминого платья, огонь слизал в памяти моей черты маминого лица. Я помню только ее как нечто доброе, круглое, похожее на солнце, обволакивающее меня теплом, от которого покойно и хорошо. Какое это счастье – жить под влиянием любви к тебе и не сомневаться, что так и положено, так должно быть. Каждый ребенок полагает, что он в мире для того, чтобы его любили.

После того, как вместо мамы появилась могила – куча черной земли, придавленная серым камнем с маминой смеющейся фотографией, у меня объявился отец, похожий на мультфильмовского журавля, которого лиса кормила кашей из тарелки: у отца были длинные тонкие ноги, переступая, он высоко поднимал их, словно вытаскивал из болота. На длинном носу – толстые квадраты очков, они съезжали постоянно на кончик носа, и он движением руки, словно обтрепанным крылом, подсовывал их на место, ближе к глазам, водянистым кругляшкам без ресниц. При папе-журавле была лиса – маленького роста, огненно рыжая тетенька, она при взгляде на меня скалила мелкие зубки, словно хотела укусить, хотя и улыбалась.

«Бабушка, если ты меня отдашь, кто же будет с тобой ходить к маме на могилку? – спросила я голосом, срывающимся к отчаянью. – Я хочу там цветочки поливать. Мама любит цветы. Пусть их будет много. Она проснется, встанет, нарвет их и поставит у себя в комнатке на том свете. Ты говорила – ей там теперь хорошо, а будет еще лучше».

«Бред какой-то, – сердито сказал папа-журавль. – Забываете детскую голову всякой ересью».

Бабушка укоризненно посмотрела на него. Тетенька-лиса подошла и, прижимая меня к себе, попыталась взять меня за

руку лапкой в кольцах: «Девочка должна воспитываться в нормальной, культурной семье».

«Нет!» – взвизгнула я, и слезы покатались по щекам.

«Перестань сейчас же! – приказал мне папа, тряхнув головой так, что очки тот час слетели на кончик носа. – Терпеть не могу, когда плачут. Перестань! Или ремнем тебя успокоить?»

Я вцепилась в бабушкин подол.

«Дитя слезами душу очищает, – спокойно сказала бабушка. – Приголубь, погладь по головке, слезки и подсохнут. А ремень озлобит сердечко, заставит невинную душу все делать наперекор. Не бойся, ангел мой, не отдам я тебя».

«Но я имею все права», – замахал сердито руками папа-журавль.

«Давай, милоч, не по праву, а по чести и совести. Не по сердцу была тебе моя дочь, не станет близким и дите от нее. Родите свое да учите его ремнем, а я не отдам, пока жива. Добрым словом да с Божьей помощью сама выращу, выучу, до ума доведу».

Тетенька-лиса, к моей великой радости, поддержала бабушку, и после этого стала казаться мне чуть-чуть лучше, чем с первого взгляда. «Согласись, Юрий! Зачем травмировать ребенка? – пропела она. – Будем помогать, как сможем. Кроме того, за мать она будет получать хорошую пенсию. А в противном случае» ... Папу очень испугал этот «противный случай», и он согласился с тетенькой.

Я осталась с бабушкой. Черные краски квадрата в этой части моей биографии переплавились в радужные с блестками крошечных звездочек. Это были те радости, которые в меру своих сил и способностей старалась подарить мне бабушка.

Мама выучила меня распознавать буквы, а как их складывать в слова, не успела. «Бабушка, это буква «А»? – тыкала я пальцем в обложку книжки, которую мама оставила мне. – Это – «З». Это – «Б». Это – «У». А что получилось?»

«А пусть твои букочки возьмутся за ручки, будто маленькие человечки. И ты не разъединяй их, пускай бегут друг за дружкой, называй их без передышки, получится слово».

Я выпалила буквы на одном дыханье: получилось слово «Азбука». С тех пор буквы, когда я на них глядела, дружно брались за ручки, и с моего языка легко соскакивали слова...

Школьные годы в моей памяти тоже, словно букочки, взялись за руки и сложились в бабушкино радостное восклицание: «Слава Богу! Выросла! Мать оттуда смотрит на тебя да радуется – не зря вымолила тебя у смертыньки. Вон какая красавица, умница! Лишь бы счастье не отвернулось. Оно ведь слепощарое, наощупь ищет свою избранницу. Редко достается тому, кто его заслуживает».

Счастье – это когда тебя любят и в тебе есть способности искренне отвечать на любовь. Папа-журавль не любил меня, но очень хотел, чтобы я полюбила его или по крайней мере трепетно уважала. Благодетель, время от времени он приносил деньги и торжественно, с сознанием выполненного долга вручал бабушке. Он ласково заговаривал со мной. Я упрямо молчала. Тогда он не выдерживал такого непонимания и срывался на крик, обвиняя нас, меня и бабушку, в неблагодарности, при этом глаза его делались похожими на оловянные шарики, готовые выкатиться из орбит, пробить стекла очков и поразить мое сердце.

Неужели мама когда-то любила его такого, странного, нелепого. Он был похож на беременного добротой, делал страшные потуги, чтобы разродиться, и не мог. Наверное, мама, когда поняла это, бросила его. Иначе быть не могло. Любить такого – несчастье, его можно только терпеть. Я пыталась терпеть, снисходительно позволяла ему наслаждаться его деланным великодушием до тех пор, пока сама не вложила в бабушкины руки свои, заработанные денежки.

В душе я постоянно чувствовала призвание к любви, которая сильнее меня самой. Я любила бабушку, спокойно, доверчиво.

Но вызревающая во мне любовь – другая, не похожая на обыденную. Она должна быть, как то мамино желание, благодаря которому я осталась жить на земле...

Да, время – фантастический художник. Я вижу, как сквозь черное пробиваются алые, тугие бутоны пионов. Вижу шумный, бойкий перекресток, на одном из пяточков которого бабушки-торговки разбили базарчик. Жаркие пионы выламываются из ведер. Я выбираю три цветочных ветки, хитроглазая бабушка пеленает мне их в газетный лист: «С вас – шестьдесят рублей, двадцать за штуку».

У меня от неожиданности останавливаются глаза! «Что выпялилась? Нет денег – не бери!» – сразу осерчала бабка, и хитрые, мигающие глазки ее превратились в рыбки, она продолжала кричать на меня – и на всем базарном пяточке вызревало и вожделенно искало выход желать оскорбить, смять мою душу. Я готова была бросить, швырнуть цветы прямо в рыбки глаза и бежать отсюда, давась слезами. В самый критический миг явилось Спасение.

«Вот вам деньги за цветы, которые хотела купить девушка», – сказало торговке Спасение в образе светловолосого парня с внимательно-нездешними серыми глазами.

«Но... я не хочу уже этих цветов – от них веет холодом», – ответила я ему, как будто хорошему знакомому, которым выбирал букет для своей капризной спутницы.

«Хорошо, – спокойно сказало Спасение. – Давайте купим другие. Какие вам нравятся?»

Я была в полном смятении. Он взял меня под руку и повел вдоль рядов, уставленных ведрами с цветами

«Выбирайте! – я послушно шла рядом, смотрела на жарко дышащие цветы, но мне было холодно. – Давайте лучше я выберу для вас сам, – он выдернул из небольшой кучки цветов, ютившихся в алюминиевом бидоне, пять алых, почти поющих цветочных шапок с ярко-алыми прожилками на лепестках. —

Поднесите ладонь к цветку и подержите над, – сказал мне. – Что чувствуете?»

«Тепло», – радостно выдохнула я. И тепло действительно обволокло меня, вошло и растеклось около сердца.

Женщина, продававшая эти цветы, сказала: «Счастье не продается, оно так дается. Оно к вам пришло – берегите его. Возьмите цветы на память». Мое Спасение поблагодарило женщину и положило около бидона сторублевую бумажку: «Спасибо вам! Купите себе что-нибудь о нас на память».

«Я Богу за вас помолюсь. Как вас зовут?»

«Меня – Кирилл», – и он вопросительно посмотрел на меня.

«А меня – Ангелина».

«Бог вам в спутники, дети», – сказала женщина и перекрестила нас. С этого дня воздушный шар моей обыденности потерял якорь и воспарил над прошлым и настоящим. Я утратила ощущение времени и пространства. Я жила в новом измерении под названием Любовь. Я засыпала, благодаря судьбу за странный эпизод на перекрестке, где мне выпала встреча с Кириллом. Я пробуждалась и радовалась настоящему дню, который осмыслен возможностью быть вместе с Кириллом. Я причесывалась для Кирилла, каждый свой шаг, каждое движение души соизмеряла, равняла с тем, как бы сделал он или мог сделать-поступить. Его представление о мире и о человеке в этом мире было освещено добротой. Все, что он говорил, мне нравилось, и я готова была повторять или продолжать в том же духе. Все, что он умел и делал, а мне казалось, он умел все, было толково, тепло и радостно. Бабушка сказала, что такие, как Кирилл, рождаются раз в десять лет и то по наущению Божьему, чтобы мир не оскудел, не выхолостился...

Дни, проведенные с Кириллом, словно белые лепестки с розовыми радостными прожилками. И вдруг они оборвались-осыпались.

Мы простились на аэродроме, откуда ему предстояло вести самолет с благотворительным грузом на юг нашу бывшего союзного отечества, где теперь свояк стрелял в свояка, сосед в соседа, брат в брата. Самолет, взмыв над аэродромом, набрал высоту и превратился в игрушечный. Я счастливыми глазами провожала его и не чувствовала, что счастье тоже улетает – уплывает из моих глаз, превращается в точку и исчезает за горизонтом.

Там за горизонтом, на чужой посадочной полосе самолет обстреляли, взорвали.

Взрыв, оглушивший чужую землю, разорвал в клочки мое сердце. Я перестала существовать. Существовало только ненавистное мое тело, которое двигалось, как заводное, выполняя необходимые жизненные функции, но ничего не чувствуя и ничего не желая. И только когда наступала ночь, союзница всех бед и болей, я проваливалась в небытие и помимо своей воли обретала способность жить, а потом и желание, которое пришло и победило.

На девятый день после своей гибели Кирилл оказался рядом со мной, едва я успела провалиться в небытие, и мы до утра пробродили с ним, взявшись за руки, по ромашковому лугу. Кирилл смотрел на меня добрыми серыми глазами, говорил мне какие-то нежные слова – он любил меня, как прежде, и еще сильнее. И мое разорванное в клочки сердце начало срастаться. Я это почувствовала утром, когда очнулась. Ощущение, что Кирилл рядом, он только отлучился ненадолго, не оставляло меня. Его поцелуи целый день горели на моих губах, я прикасалась к ним кончиками пальцев – и тепло растекалось по мне, оживляя меня.

«Слава Богу», – перекрестила меня бабушка, заметив перемену, и больше ничего не сказала, боясь, что я опять расплачусь и на весь день уткнусь в подушку.

На следующую ночь, когда я легла в постель и долго не могла согреться, даже зубы постукивали от внутренней дрожи,

Кирилл опять пришел ко мне, лег рядом, тесно прижавшись. Он обнимал, целуя меня, переливая свое тепло в мое остывшее тело. Я упоенно отдавалась ласкам.

Утром на моей подушке остались две лунки – как мы лежали голова к голове, так и сохранилось. Я целый день кружила возле постели, глядела на лунки и видела Кирилла, улыбающегося, обожающего меня.

«Боже, уж не схожу ли я с ума?» – ужаснулась я вечером, взбила подушку и легла: скорее бы забыться, уснуть, избавиться от наваждения. Но он снова пришел ко мне, его ласки были горячее прежних. Я желанно принимала его поцелуи, наполняла ими себя. Я теперь знаю, что значит – быть на седьмом небе, это значит испытывать невесомость души и тела, органически ощущать себя воспарившей над болью. Я словно превратилась в частичку добра – первооснову природного состояния.

И снова утром на моей подушке были две жаркие лунки – след от любовно соприкасающихся голов. Моя ночная рубашка – я помню, как Кирилл снимал ее с меня, – лежала, скомканная, на краю кресла, что около моей кровати.

Получалась страшная картина: полнокровной жизнью я жила во сне, а проснувшись, оказывалась в пустоте, все, что делала, делала будто робот. Даже с бабушкой разговаривала монотонно, однообразно, словно нажимала на какие-то клавиши внутри себя и извлекала звуки.

Сон – моя жизнь. Ночь – мое счастье, мое блаженство. Кирилл – моя бесповоротная судьба.

Однажды утром, очнувшись, я откинула одеяло: по простыне растекались алые цветы моей невинности, похожие на расплющенные пионы, те самые, на которые мне тогда не хватило денег. Нет, это другие цветы. Но кто их сорвал, растоптал? Кирилл? Но мне было так сладко, так необыкновенно, так легко с ним ночью, его поцелуи, будто мед, растворенный в спирте, вливались в меня и наполняли всю

счастливым жаром. «Кирилл! – я закричала призывно, отчаянно. – Я люблю тебя! Я люблю тебя навсегда!»

Бабушка всполошилась, прибежала из кухни, закружилась возле меня: «Что ты, дитяtko? Опомнись! Испей водицы, ангел мой! Голубушка! Пожалей меня, старую! Не рви сердце!»

«Бабушка, он – мой муж! – я откинула одеяло, цветы красовались на месте. – Он приходит ко мне каждую ночь. Не веришь?»

Бабушка прижала мою голову к груди: «Успокойся, доченька! Ну и слава Богу! Коли так, до сорока дней он будет с тобой».

«А потом? Потом?» – испугалась я.

«Не знаю. Ничего не знаю».

Бабушка была права. После сорока дней со дня гибели Кирилла я уже не принадлежала больше ему. Не принадлежала я и себе...

На высоком Волжском берегу белыми стенами обнесен монастырь, а ворота его – черный квадрат, составленный из двух половин, которые разомкнулись и пропустили меня в новый мир. Черное до полу платье ограждает мое тело от иных соблазнов. Опустившись на колени, я обращаюсь к Богу. Тень Кирилла рядом со мной. Мы оба произносим слова благодарения небу за ниспосланное нам счастье любить до самозабвения, до отречения.

Я знаю, рано или поздно Кирилл придет за мной и уведет навсегда туда, где возможно счастливое существование двух любящих душ. Рано или поздно черный квадрат перестанет быть моей судьбой.

Но чьей же тогда?

**Май-июнь, 1992 год,
Белорецк-Ассы-Белорецк.**

ДАМА С ... КОШКАМИ

Очерк

Она не слышит ни звуков, ни шума окружающего мира. Но если, почти прикинув к её левому уху, что-то прокричать, четко произнося слова и прореживая их паузами, услышит, вступит в разговор. Говорит она громко, с насадной хрипучестью. Но ей думается, что, как и прежде, пока глухота не стала полной, голос звучит чисто и мелодично. Поговорить она любит. Особенно о том, что выпало ей на долю за долгие годы.

В свои 92 она ещё носит туфли на высоких каблуках, элегантно платье, закрашивает седину.

Время чуть ссутулило её, но не заставило опустить голову, упереть взгляд в землю. Глаза с зеленью чуть поблекли, но не утратили живости. Она много читает. Знает обо всем, что происходит в мире, особенно пристрасно следит за новостями из Австрии.

Это её родина.

Родным языком считает русский, хотя до двадцати лет не знала ни одного русского слова, кроме «Ленин» и «страна Советов».

Последнее время поет песни на немецком. Тоскует по родным местам, но гордость не позволяет вернуться. Побывала там разок в конце восьмидесятых - и хватит. Пусть теперь только снится высокий дом из нескольких комнат, сад вокруг него, ухоженные дорожки к парадному крыльцу и цветы вдоль обочин. Брата и сестру она пережила. Остались племянники. В этом доме живут их семьи. Они рады приютить её, но она не дает согласия. Много причин на это. А самая главная в том, что, покидая родину, она, юная, мечтала добыть необыкновенную

звезду счастья в мире добра и справедливости, но звезда оказалась слишком далёкой, недостижимой. С первых шагов пришлось продира́ться через такие тернии, что не приведи Господь никому.

Её имя – Эрне Ланге.

Однажды Эрне написала мне письмо и рассказала вкратце свою историю. «Если захотите знать подробнее, пригласите меня в гости», - добавила в конце.

Я пригласила. В первый раз она пришла ко мне с «переводчицей», которая кричала мои вопросы или ответы Эрне в ухо. Эрне волновалась, рассказывала, сбивалась, перескакивала с одного на другое, боялась пропустить что-то самое важное. Потом она приходила уже одна, говорила много и долго, пытаясь объяснить и прошлое, и настоящее. Ей надо было выговориться, освободиться от противоречивых мыслей, утвердиться, может быть, в сотый раз, в правильности выбора своего жизненного пути, понять по моему выражению глаз, как я воспринимаю её рассказ, сопереживаю ли.

А я слушала, примеривала ее историю на себя: смогла бы я выдержать такое и не сломаться?

Выговорившись, Эрне спохватывалась: «О, мои кошки! Побегу кормить».

Кошки – ее самые близкие друзья, самые любящие, самые понимающие, отвечающие привязанностью на привязанность. Она их, брошенных, подбирает на улице, лечит, откармливает. Кошачья семейка разношерстная, разновозрастная, но дружная.

«Они – моя радость, - в интонации Эрне такие теплые нотки, каким говорят о собственных детях. - Одна кошечка – главный врач. Разболится мое ухо, лягу, начну голову ладонями зажимать, она тут как тут, замурлыкает, ляжет на подушку, прижмется жарким брюшком к моему уху, стреляющая боль утихает. Так и засыпаем с ней – ухо к брюху. Остальные тоже на мне: кто в ногах, кто с боку. Тепло с ними».

«Да, - думаю, - нередко ситуации, когда человеку теплее с кошками или собаками, нежели с людьми».

Когда Эрне выходит на улицу погулять, воспитанники - следом или вокруг неё. Ну, прямо-таки – дама с кошками.

В 87 году родственники пригласили её погостить на родине. Собралась быстро, да уехать оказалось не просто. Соседки в один голос советовали: «Закрой комнату, а их на улицу. Не подохнут». Кошки, как будто поняли, что хозяйка уезжает, и пуще прежнего жались к её ногам, терлись мордочками об её руки, ласкались. А кот Василий, дородный, более сдержанный в своих кошачьих эмоциях, ходил за ней, как привязанный, по комнате и укоризненно глядел прямо в глаза, будто говорил: «Уезжаешь, значит. Бросаешь нас. Вот и вся любовь».

Ей казалось, что кот подслушивает её тайные мысли о возможности остаться там, в Австрии, если хорошо примут. Стало как-то не по себе. «Не гляди на меня так. Я вернусь. Ждите», - пообещала своим питомцам. Наняла женщину на время своего отъезда, чтобы та кормила их, выпускала гулять, не давала в обиду недобрым соседкам по коммуналке.

Кошки, а их то пять, то шесть, а то и больше (когда появлялись котята) очень любят сидеть рядком на подоконнике и глядеть подолгу, как и хозяйка, в окно, из которого виден краешек здешних гор.

«Они похожи на Альпийские горы, - объясняет Эрне кошкам. - Там моя деревня Флантицы. Неподалеку – луг. Я, когда еще в школу не ходила, посла козочек. Прыгала по цветам вместе с ними, носилась в перегонки. Ах, как чудесно тогда жилось! Папа у меня был портной, одевал всю деревню. Учил и меня на зингерской машинке, потом мне это очень пригодилось. Вот я и поеду на свидание с моим детством. Обещаю вам – вернусь».

И вот, спустя полвека, Эрне оказалась в своей деревне. Луг все также в цвету и козочки вроде всё те же. Только она другая, чужая в родных местах. Деревня разрослась. На месте

отеческого дома теперь большой, двухэтажный, со всеми удобствами. И школа разрослась. В той, далёкой во времени, Эрне впервые услышала о стране, где взошло солнце справедливости, равенства и братства. Учитель – чех, социал-демократ упорно рассказывал о Советской России, о Ленине, о счастливом будущем этой необыкновенной страны.

А в Германии в начале 30-х годов нарастал фашистский шквал и потихоньку захлестывал города и деревни, докатывался и до Австрии.

В это самое время к Эрне пришла первая любовь. Франц – статный красавец однажды пришел по делу к отцу Эрны. А потом стал бывать чаще. Его страстные речи совпадали с тем, что говорил учитель-чех. Восемнадцатилетняя девушка увлеклась. Франц и только Франц, остальное перестало существовать. Вскоре они поженились. Появился первенец – сын. Но Франца за его взгляды и убеждения стали преследовать, лишили работы, грозили тюрьмой. Молодые супруги принимают решение – бежать из Австрии в страну Советов. Они были уверены, что их примут как родных, дадут жильё, работу, их сын будет расти в новом обществе.

В июне 1932 года Франц и Эрне покинули Флантице. Путь предстоял долгий, трудный - через Венгрию, Чехословакию, Польшу.

Шли в основном пешком. Эрне не спускала с рук сына. Усталость была, но изнеможения не чувствовали, их вела любовь, помогала, воодушевляла вера в будущее.

В Чехословакии пришлось задержаться: заболел сын. Врач сказал, что он безнадежен. В другом селе бабушка-акушерка взялась лечить малыша травами и вылечила. Франц добывал пропитание, нанимаясь к хозяевам на разные работы.

Близилась осень. До заморозков надо было пройти Польшу и выйти к границе. Уже октябрь был холодным, а в ноябре начались заморозки.

На пути к границе им встречались эмигранты из России. Пугали: в стране Советов голод, жизнь трудная, под прицелом. Не испугались. Один из эмигрантов пожалел их, объяснил, где можно безопаснее пересечь польско-советскую границу, даже рассказал, как сам он переправился на польский берег и где спрятал лодку. Долго искали. Нашли. Барахтаясь по пояс в ледяном крошewe, оттащили лодку от берега и поплыли в новый мир.

Советские пограничники сразу же задержали перебежчиков. Началась жестокая проверка. Объяснениям Франца не верили. Сама Эрн несколько часов простояла перед офицером госбезопасности, уверяя и доказывая, что они не шпионы.

Подписали множество бумаг, свидетельств о благих намерениях стать гражданами страны Советов.

Проверка называлась карантинном. Когда карантин кончился Эрну и Франца переправили в Киев для дальнейшего выяснения их намерений. Эрне попала в больницу. Сказались переутомление, простуда, первые потрясения, еще и малыш прихворнул. Перебежчики ожидали, что их встретят с распростертыми объятьями. Жестокая реальность рассеяла иллюзии.

В Киеве был голод. Голодающие не гнушались ни кошками, ни собаками, ни даже крысами. Эрну подкармливали красноармейцы, кто-то из них добыл и ей кошку. Она оставила её в живых. Может, за это судьба потом хранила ее в сложных ситуациях, заставляла быть живучей, как кошка. Еще в карантине она начала учить русские слова. Язык давался легко, потому что было большое желание овладеть им.

В 1933 году перебежчиков переправили из Киева на строительство Магнитки. Франца определили работать слесарем. Вскоре его оценили, поставили бригадиром. Все вроде бы устраивалось – живи, работай, вот только сынишка все чаще болел. Да и Франц утрачивал энтузиазм, мрачнел день ото дня. Его удручало недоверие, слежка за любым шагом.

Однажды, когда Эрне с малышом лежала в больнице, Франц тайно ушел из Магнитки, вознамериваясь вернуться в Австрию. Его задержали. Снова допросы в НКВД. Простили. Но сама Эрне не смогла простить предательства. Это удвоило его прежнее намерение покинуть Магнитку. Они расстались навсегда. Эрне страдала: пол-Европы прошли пешком рука об руку, преодолели, казалось, непреодолимое, достигли цель, работают не хуже, чем другие, впереди жизнь в новом городе, а он спасовал, да еще в такой момент, когда сын заболел. Страдала, но не простила, хотя потом и жалела, корила себя в том максимализме, на который способна молодость.

Раздор с близким человеком Эрне вынесла, но когда умер ребенок, слегла. Не оставили в беде подруги по работе, воодушевили, помогли устроиться на фабрику-кухню. Черная работа подсобницы осталась позади.

Жизнь продолжалась. Молодость умеет преодолевать и горе, и недуги, и трудности. Эрне была горда своей причастностью к строителям новой жизни.

В Магнитке в то время работало много немецких специалистов. Генрих Ланге – один из них, он тоже бежал из Германии от фашизма. Кто-то рассказал ему об Эрне. Познакомились. Генриха покорила красота Эрне, удивило упорство, привлекла твердость. Стал ухаживать. Она не заставила долго ждать согласия стать его женой. Убежденный коммунист, Генрих заставил Эрне прочитать «Капитал» Маркса, уговорил читать «Войну и мир» Л. Н. Толстого, чтобы лучше вникнуть в суть русского языка, обогатить словарный запас, прочувствовать особенности русского характера. Прочла и то, и другое. С Генрихом было интересно, а главное – надежно. Казалось, ничто не могло разрушить их счастья, которое удесятерилось, когда родилась дочь.

Но грозный 37-ой год уже ломился в двери. По ночам забирали неблагонадежных, неугодных кому-то, мешающих

карьере. Кто-то из завистников наступал и на Генриха, его обвинили в шпионаже.

В декабре 37, следом за Генрихом, арестовали и Эрне. В тюрьме отобрали дочь. Следователь дни и ночи напролет добивался, чтобы Эрне подтвердила, что ее муж заслан в Германию разведкой. «Много ночей я стояла перед ним на ногах», – вспоминает Эрне, – он орал, требовал признания. А я твердила одно: Генрих – чист. Тогда я верила, что правда восторжествует, ошибка будет исправлена. Но... Генриха расстреляли. Умерла дочка. Звезда моего счастья померцала и опять погасла».

Эрне отправили в Темниковский лагерь в Мордовии и только в 46-м году освободили. Лагерь многому научил, а главное умению запереть себя в себе. Мало кому Эрне открывалась и доверяла. Работала в швейном цехе. Быстро освоила премудрости швейного производства, и ее определили в механики. Вот где пригодились портняжные уроки отца.

На одних с ней нарах оказалась жена Тухачевского. Эрне училась у нее выдержке, внутренней культуре, умению держать спину прямой перед любым начальством.

В лагере же познакомилась с женщиной из поселка Инзер. Та, поэт по натуре, рассказывала ей о красотах Урала. Эрне слушала и воображала Альпы. Тогда и вызрело решение поселиться после освобождения в Инзере. Но по воле случая оказалась в Белорецке. Холодно и даже недружелюбно встретили ее жители, относились настороженно. Долго искала работу, наконец, устроилась уборщицей в комиссионный магазин.

А потом, когда поближе сошлась с белоречанами, завела приятельниц, которые приняли ее в свой круг, оценив добропорядочность, строгое отношение к работе, и помогли устроиться поваром в заводскую столовую.

Энергичная, не обделенная красотой, Эрне помимо своей воли привлекала внимание мужчин. А когда один из начальников стал упорно набиваться в любовники и угрожать

увольнением, решила быть подальше от беды и по рекомендациям устроилась шеф-поваром в пионерлагерь «Арский камень», в зимнее время тут действовала турбаза. Беглянка словно домой попала: Сосновый бор, скалистые горы, цветущие полянки, меж крутых берегов – река. О лучшем и мечтать не надо.

Строгая, честная, с чувством собственного достоинства, Эрне получила там прозвище «прокурор». Она и до сих пор не любит и обличает тех, кто ловчит, ходит не прямым путем, а обочиной.

Больше всех на турбазе ее любили кошки, они каким-то образом чувствуют доброго человека и привязываются.

Эти мурлыки и сегодня ее единственная семья.

Она, как и обещала, вернулась к ним из Австрии. Со счастливым смехом рассказывает: «Поезд пришел на рассвете. На попутке подъехала к дому. Еще темно. Благодарю шофера. Расплачиваюсь, и вдруг вижу: из форточки моего окна «посыпались» одна за другой кошки. Мяукая, побежали ко мне. Васька первым. Голос мой услышали. Мурка-врач изловчилась и запрыгнула на плечо. Остальные, оглядываясь, иду ли следом, засеменили к подъезду.

Шофер потом, наверное, долго смеялся над моей семейкой».

Там, в Австрии, она мало что рассказывала о житье-бытье своем. Зачем им знать подробности. Жалости она не терпит, а сочувствие тоже мало что даст. Подробности должны знать здесь, чтобы не повторилось страшное.

В начале перестройки Эрне Матеусовна написала письмо председателю КГБ Башкирии В. Поделякину как жертва репрессии во времена Сталина.

«Нас осталось так мало, а жить оставшимся остается еще меньше. До слез обидно, как просто было тогда приклеить любому ярлык «враг народа», расстрелять или сделать так, как поступили со мной: оторвали мать от ребенка и как жену «врага народа» отправили за решетку.

А ребенок остался на произвол судьбы, на погибель. Все, что пришлось пережить, принималось как недоразумение, терпели... Сейчас перед финишем жизни так хочется к себе хоть немного человеческого внимания».

Это крик обиженного человека. Но общество страдает неизлечимой глухотой. Хоть в рупор кричи – мало кто услышит.

Приравнивали репрессированных к инвалидам Великой Отечественной войны, чтобы и те, и другие пользовались определенными льготами. И все на этом.

Живет Эрне Матеусовна в коммуналке, один сосед – злобствующий алкоголик, соседка – не лучше его. На кухню порой страшно выйти.

Вот и общается Эрне в основном с кошками, в одинокие вечера доверяя им свои мысли вслух: «Власти не умеют просить прощения у обиженных.

Живи, как сумеешь, выкарабкивайся на сухой чистый берег из той грязной реки, в которую тебя насильно затолкнули».

Кот Васька слушает и подмурлыкивает, две кошечки трутятся у ног, а Мурка-врач сидит на коленях, словно говоря: «Уж кому-кому, а нам известна эта ситуация, но есть еще на свете добрые люди».

«Да, есть,- подтверждает Эрне Матеусовна,- сердобольные, справедливые. Если бы не было таких, так бы и умерла я в лагере в звании «Эрне враг народа».

Генриха тоже реабилитировали, признали невиновным. Может, ему там, на небесах, и не надо уже это, а мне надо, у меня совесть чиста и перед ним, и перед собой.

А дочка наша за что пострадала? Кто ответит? Я и могилы ее не знаю».

Кошки уже наизусть знают все ее рассказы, сетования, надежды.

В последнее время она редко тешит их разговорами. Чаще читает вслух стихи:

Нина Зимина

Одинокая белая астра
В окружении красных – черна,
Моя радость венчалась на царство,
Да корону украли вчера...

А еще она поет им песни по-немецки о том цветущем луге,
где пасутся белые козочки.

Декабрь, 2003 год.

Прошло полтора года, как я поставила точку под этими записками.

Ранним июньским утром 2005 года нежно любимые кошки Эрне начали орать и проситься за окно. Она открыла створку, и их будто ветром сдуло. Мгновенно растворились в высокой траве дворового садика.

А Эрне, почувствовав необыкновенную усталость, прилегла отдохнуть... и – навсегда.

На другой день осиротевшие кошки смиренно сидели на общей кухне, словно понимая, что хозяйке, лежащей в гробу под неживыми цветами, теперь не до них.

Август, 2005 год.



ДОРОГАЯ ПОКУПКА

Ломали клуб – одноэтажное вместительное здание с пятью огромными – от пола до потолка – окнами, в которых, если распахнуть, можно въехать на телеге. На коньке пологой крыши трое рабочих гвоздодером, топором, ломиком отрывали, отрубали бурые, проржавевшие до ажурности листы железа, отворачивали доски, рушили стропила. Визг выдергиваемых гвоздей, стон худого железа, глухой треск и уханье старого дерева, местами уже трухлявого, составляли какофонию разрушения.

Клуб стоял на высоком берегу Солнечного озера. Через дорогу от него упиралась почти что в небо девятиэтажка санаторного спального корпуса. Шесть лет тому назад на этом самом месте была волейбольная площадка, по сторонам которой в тени березок стояли скамейки для болельщиков, а вечерами здесь устраивались танцы под аккордеон и всевозможные игры-хохмы.

Спальные комнаты располагались на втором этаже просторного здания с мраморной лестницей и белыми лепными колоннами, подпирающими потолок нижнего холла, куда выходили двери процедурных кабинетов. Рядом, только пересечь асфальтированную площадку, особнячок-столовая с вычурным фасадом, у входа – белокаменные чаши с шапкой цветов, искусно подобранных по росту и колеру.

В целом этот архитектурный ансамбль напоминал дворянскую усадьбу с уютными аллеями, уводящими к озеру. Приют для отдыха и умиротворения.

Теперь серые коробки разламывают высь, и особняки у их подножий, словно доживающие свой век старики, уже лишние в бурной, широко шагающей жизни. Вот и клуб стал ненужным, потому что в девятиэтажке есть шикарный кинозал: развлекайтесь, кому скучно. Частенько сюда залетают на шабашку звезды эстрады: смотрите, кто хочет, как они, прыгая чуть ли не до потолка, удачно разевают рты под фонограмму.

А в клубе в то далекое славное время сами отдыхающие давали концерты. Да еще какие! Романсы, шлягеры, стихи! – кто во что горазд. На левом фланге сцены выступал из-за красного плюшевого занавеса рояль. Черная крышка словно приподнятая для приветствия шляпа джентльмена. Рояль рождал атмосферу торжественности, славного праздника. И только кто бывал за кулисами, знал, что у него была сломана задняя нога, и обыкновенный березовый чурбак подпирал-поддерживал его элегантно черное крыло. Но искалеченность не мешала рождаться в нем чистым и сильным звукам.

У этого рояля все и началось тогда.

В свое прошлое каждый смотрит, будто в бинокль, избирательно, обостряя резкость наводки, укрупняя, приближая план того, что хочется рассмотреть попристальнее, разобраться в главном, отсеять второстепенное, сделать для себя выводы или просто полюбоваться тем, что дорого, мило, пожалеть о несбывшемся, посетовать на себя за упущенное.

Шесть лет тому назад Людмила Сергеевна была счастлива здесь без расчета на будущее, без надежды на постоянство.

Счастлива нечаянно и негаданно.

Она, выпускница института, приехала в санаторий полечить грязевыми ваннами коленный сустав, травмированный в детстве. Кости тогда срослись, но не совсем точно, осталась хромота, и боль тоже время от времени мучила.

В первый же день с утра оказалось испорченным настроение.

– О! В нашем полку прибыло, – звонко пробасила черноволосая здоровячка, как только Мила перешагнула через

порог палаты. – Значит, так, говорю сразу напрямую: у меня здесь любовь, по кустам отираться я не собираюсь, он приходит – ты уходишь часочка на два. Гуляй, где вздумается. Заведешь себе незабудку – будем меняться, «работать» по графику, – и она, белозубо раскрыв пирожок малиновых губ, рассмеялась. А когда Мила, припадая на левую ногу, прошла к указанной свободной койке, протянула: «Охо-хо!» – как бы говоря: вряд ли, мол, тебе с такой походочкой найти незабудку.

«Здоровая, как бегемотиха, – неприязненно подумала о своей соседке Мила. – Что лечить-то ей?»

Но здоровячка, пока Мила расстилала простынь, надевала на подушку наволочку, выложила, что она каменщица, руки застудила, по ночам они ей «спокоя» не дают. Только мужиков обнимать и годятся.

– Нам с тобой повезло: палата на двоих. Уже неделя, как я тут шикаю. Все боялась: поделят какую-нибудь старушенцию – не выпрешь ее погулять часочка на два. А молодость – она понятливая! – здоровячка одобрительно-покровительственно похлопала Милу по плечу, как совковой лопатой.

Ее дружок – лысый брюхатый мужик лет пятидесяти с глазами, налитыми сывороткой, явился во время тихого часа, уверенный в своей неотразимости, распахнул дверь и застрял на пороге, увидев Милу.

– Что растопырился? – заворковала здоровячка. – Проходи – гостем будешь, бутылку на стол поставишь – хозяином.

Тот, довольный таким ласковым приемом, пропыхтел к столу, распахнул пиджак, вынул откуда-то изнутри, будто из своей утробы, пол-литра водки и водрузил на столик.

– За знакомство! – распетушился сразу.

– Я не пью, – Мила ответила, стараясь затушевать раздражение и отвращение в голосе. – Простите. Я пойду лучше погуляю.

– Обижаешь, – притворно сказала здоровячка.

– Брезгуешь? – поддержал ее гость.

– Неволить не станем, – скороговоркой продолжила та, а в глазах стояло: «Выметайся скорее».

Прихватив с собой для компании тургеневскую «Асю», Мила «вымелась» и сразу попала в сонный зной. Пустынно кругом: все, вероятно, предалось любимым занятиям – кто спал, кто читал, а кто еще кое-чем занимался. По засыпанной мелким гравием аллейке спустилась к озеру. Оно, облитое солнцем, тоже спало, причмокивая у дерева. Села на грибок под скамеечку, раскрыла книгу. Но не читалось – мешала сонная духота. Надо было двигаться, чтобы не одуреть от этой духоты.

По берегу среди кленов, подпирающих небо, вилась тропинка. Разлапистая листва впитывала в себя солнечные лучи, охраняя прохладу у земли. Аромат разнотравья сливался со свежестью близкой воды. Дышалось легко и приятно. Мила, шагая в тени по шуршащему гравию, почувствовала себя свободной от раздражения и даже счастливой. Тихонечко, а потом все громче и громче, надеясь, что вокруг ни души, запела: «Слышишь, в роще зазвучали трели соловья, звуки их полны печали, молят за меня» ... Голос разрастался, креп, колосился. Душа словно обрела крылья и подняла серенаду выше крон, унесла вперед по тропинке.

И вдруг Мила наткнулась глазами на человека. Он стоял на повороте тропинки по пояс оголенный – клетчатая рубашка перекинута через плечо – загорелый, почти золотисто-коричневый в тени клена. Жевал какую-то травинку и улыбался. Если бы не улыбка, добрая и веселая, Мила бы испугалась. Она тоже остановилась, не успев закрыть рот, хотя и оборвала песню на полуслове.

– Отчего замолчали? – спросил незнакомец. – У вас сильный красивый голос. Сам Шуберт, услышь он вас, остался бы доволен. – Он шагнул навстречу, протянул руку. – А теперь – здравствуйте! Как вас зовут?

– Мила.

– Родители не ошиблись, выбрав вам это имя. Хотите сюрприз? Идемте со мной, если я вас не испугал.

– Ничуть, – улыбнулась Мила и пошла, не вырывая своей руки из его, как маленькая девочка со старшим братом.

– Осторожно! Здесь крутой спуск, – он крепко сжал ее руку, как бы говоря этим, что на него можно положиться и на крутом спуске будет безопасно.

Потом тропинка, разветвившись, пошла вверх, на высокий берег к белому зданию. На двери висел амбарный замок. Незнакомец достал из кармана брюк ключ, распахнул дверь, и Мила доверчиво шагнула за ним, поднялась на три-четыре ступеньки и оказалась около рояля, того самого, крыло которого опиралось на березовый чурбак. Но чурбак Мила разглядела гораздо позднее.

– Представьте себе, полчаса назад я сидел вот на этом стуле, – новый знакомый придвинул стул к роялю, пробежал гамму, чуть помедлил, поднял кисти рук над клавишами, коснулся их пальцами, затрепетали звуки, нежные, робкие, объединяясь в мелодию. – А вы то же самое пели там. Мистика. Давайте попробуем вместе. Ваш голос, мой инструмент.

Дымный солнечный свет вливался через открытую дверь и рассеивался в темноте сцены, оседая на крышке рояля, расплылся, золотясь, на тыльной стороне задернутого занавеса. «Ах, как хорошо жить на белом свете!» – хочется воскликнуть в такие минуты. Мила забыла о здоровячке с ее лысым ухажером. Душа переполнилась счастливым волнением, но на голосе это не отразилось. Голос и мелодия сразу сдружились. Аккомпаниатор одобрительно кивал головой. И когда Мила вдохновенной фразой «И на тайное свиданье ты приди скорей! Приди! ... Скорей!» – закончила петь, он захлопал в ладоши и сказал:

– Хорошо! Даже здорово! Вы где учились петь?

– Нигде. А если по правде – у радио.

– Жаль. Вам надо было в консерваторию.

– Хорошенькое дело – хромая певица, – вздохнула Мила.

– Боже, да вы с комплексами. Вот бы не подумал. Значит, певчая птица собственной лапкой захлопнула дверцу, отгородясь от действительности.

– Вовсе нет. Я изучала французский и английский, пела со студенческой сцены, даже участвовала в конкурсах. Я ничуть не жалею о судьбе, только кое о чем сожалею.

– Ну и что вы любите петь больше всего?

– Романсы. Старинные песни. В «Низенькой светелке» – чудо как хороша. А вообще-то я всеядна.

Он опять коснулся пальцами клавиш, и грустная, протяжная мелодия родилась без натуг, легко потекла из раскрытой двери, сливаясь с солнечным светом.

Мила поймала паузу и тихонечко стала подпевать. Мелодия расцвела голосом, заиграла, заволновалась радостно, довольная тем, как два незнакомых друг с другом человека оживили ее. Песня живет, когда ее поют, и умирает, когда ее забывают.

– Все хорошее имеет свой конец. У меня вышло свободное время, – аккомпаниатор поглядел на часы. – А надо еще искупаться, иначе жара сморит меня. Вы умеете плавать?

– Нет.

– Хотите научу?

– Но... – Мила хотела напомнить ему, что у нее неполноценная нога.

– Опять «но». Забудьте о своем «но». Давайте завтра в этот распрекрасный сонный час встретимся здесь, помузицируем, а потом на озеро.

– У меня нет купальника.

– Не проблема. Вы сейчас куда?

– Поброжу. Погляжу. Спасибо вам. Теперь мне хочется здесь остаться. А некоторое время назад готова была чемодан в руки и – на автобус. – Мила редко откровенничала даже с близкими людьми, а тут, пожалуйста: получилось вроде признания.

У нового знакомого чуть серебрилась голова, улыбочивые морщинки от глаз к вискам свидетельствовали, что он по

возрасту опередил ее лет на десять, а может, и больше. Наверное, поэтому так легко завязалось их знакомство. Со сверстниками, опять же из-за этого «но», Мила вела себя настороженно, недоверчиво, иногда дерзко.

Уходя из клуба по дорожке вдоль озера, Мила думала о неожиданном знакомом. Ей нравилась его улыбка: губы складывались полусерпиком, который как бы срезал серьезное выражение лица, в глазах появлялись золотые искорки. Кто он? На массовика-затейника не походит. Массовики обычно крикуны, дергающийся, рисующийся народ с претензией на талант, который изменил им, а если точнее, массовик – карикатура на артиста.

В этом человеке не было ничего карикатурного. Скорее всего, он – директор клуба, доказательство тому – ключи в кармане. Да и с ней он завел знакомство не иначе как для галочки в графе «художественная самодеятельность».

Грязелечебница, одноэтажная, приземистая, выросла в цветущий пятачок на берегу поодаль от других строений санатория.

В раздевалке было душно, как в остывающей бане, и пахло прелыми вениками. Медсестра, отмечавшая курортные книжки, велела раздеться догола и провела Милу в длинную комнату, уставленную деревянными топчанами. Почти на всех лежали запеленутые в байковые одеяла женщины, похожие на коконы, из которых торчали головы. На одном из топчанов сидела женщина, прикрыв скрещенными руками большие груди, ждала, когда ее превратят в кокон. Открылась дверь, и появился с ведром парящей грязи молодой мужчина в резиновом фартуке, в сандалиях на босу ногу, руки в грязи, как в высоких перчатках. Вывалил грязь на клеенку, расстеленную поверх одеяла, разровнял ее руками. «Ложитесь», – сказал женщине. Та, не отрывая рук от груди, умоглась. Он ловко обмазал ей ноги, живот, завернул в клеенку с одеялом. Женщина отводила стыдливо глаза в сторону.

«Готовьтесь», – бросил грязеобмазчик Миле и задержал на ней взгляд. Как только он скрылся за дверью, Мила тут же выскочила в другую, где раздевалка, поспешно оделась. Медсестра ее остановила. Узнав, в чем дело, отругала. Мила заявила, что на грязь она будет ходить в купальнике.

– Только с разрешения главврача, иначе не допущу, – строго сказала та. – Это не пляж, а лечебница.

По пути к главврачу Мила завернула в магазинчик, где торговали продуктами и промтоварами, выбрала себе купальник потемнее, чтобы легче стирать было после грязевых процедур. Нашла дверь с табличкой «Главный врач Березовский Валентин Николаевич». Пышнотелая медсестра с приветливыми глазами остановила ее, сообщив, что прием уже закончился. Мила рассказала, что привело ее сюда. Медсестра рассмеялась.

– Привыкнете. Он же вас не съест.

– И все-таки попросите принять меня. Две минуты – больше не задержу.

Отворилась дверь, из кабинета главврача вышел вчерашний знакомый в светлом, почти белом костюме, пиджак расстегнут, в руках кожаная папка.

– Здравствуйте, Мила, – сказал с удивлением, тревогой, но доброжелательно. – Что случилось?

Мила, запинаясь, краснея, объяснила ему.

– Пожалуйста, передайте главному врачу мою просьбу.

– Это не проблема, – улыбнулся он и обратился к медсестре. – Позвоните на пост грязелечебницы, в купальнике, так в купальнике. Что тут противоестественного, если женщины стесняются?

– Хорошо, Валентин Николаевич. Сейчас все сделаю, – заторопилась угодливо медсестра.

У Милы округлились от неожиданности глаза, екнуло сердце и заколотилось, одеревенели ноги.

– Что, Мила? Переволновались? – спросил Валентин Николаевич, когда они вместе вышли из приемной. – У нас

умеют усложнять людям жизнь даже такими пустяками. Идите принимать свою грязь. А после обеда – как уговорились... Ну, пока! У меня по хозяйству еще куча дел.

И покатались июльские деньки в свой зенит. Мила на солнечных качелях своего настроения поднималась к поднебесью, когда Валентин Николаевич встречал ее у клуба или на тропинке, ведущей в клуб. А когда он пожимал ей руку, благодаря за удавшуюся песню, солнечный луч зигзагом впивался в ее сердце, обжигая его, но рождал почему-то не жар, а озноб. Такого она не испытывала, даже когда целовал ее сокурсник Женька Косов. Ей льстило, что красивый ядовитый на язык парень выделял ее среди других. Когда любят тебя, тешат твоё самолюбие, потакают капризам – это приятно, вырабатывается уверенность в себе и даже появляются ничтожные мысли о своем превосходстве; земля как веселый ковер, стелется под ноги, идти легко и надежно. А когда любишь ты без надежды, появляется ощущение, будто идешь не по земле, а по радуге, которая вот-вот истает, оборвется где-то на полпути, и ты упадешь в пучину сомнений, разочарований и безнадежности.

Солнечные качели настроения заносили Милу в поднебесье, на ту самую радугу, которая может истаять, оборваться, если Валентин Николаевич изменится, перестанет быть таким, как есть. Но он был необыкновенным и позволял ей не только идти, но и танцевать на радуге. Опускаясь время от времени на землю и сталкиваясь лицом к лицу с хмурыми, озабоченными, крикливыми, а порой злобствующими людьми, Мила никак не могла понять, почему им плохо, когда ей так хорошо, хотелось, чтобы они тоже заряжались солнечным настроением.

Как-то она обмолвилась, что медсестра в грязлечебнице невыносимая крикунья: то это не так, то другое.

– Кричит не она – кричит ее одиночество, – объяснил Валентин Николаевич, и этим объяснением еще больше склонил Милу к себе. – Все при ней, а вот счастье, того не замечая,

обходит ее. Пожалуй, закричишь. Человек бывает плохим не от силы, а от слабости.

Подкупало то, что о каждом он говорил в основном добрыми словами, находил объяснение какому-то изъяну в характере и даже неблагоприятному поступку.

Толик – так звали подносчика грязи – продолжал смущать Милу. Его воловьи глаза в длинных ресницах, переполненные любопытством, останавливались то на одной, то на другой женской фигуре, словно ошупывали груди, оглаживали бедра. Когда он так смотрел на Милу, ей казалось, что она забыла надеть купальник.

– Толик – художник. Он смотрит на фигуру как на натуру, – Валентин Николаевич опять выступил в роли заступника.

– Зачем же тогда с грязью возиться?

– Любовь виновата. Была у него своя Афродита. Чуть ли не молился нее. Рисовал, наслаждаясь, а дотронуться боялся, щадил целомудрие. Однажды застал ее в любовной постели с другим, выбросился из окна, но не разбился, слава Богу, кусты густые под окном, упал, как на перину. Но кисть правой руки вывел из строя. Наложили гипс, не вправив вывиха, потом на месте вывиха затек хрящ. С Толиком меня познакомил приятель. Уговорил бедолагу перебраться сюда на лето. Вот такая история. Он и работает, и лечится одновременно. Ведра с грязью – хорошая растяжка для сустава. Массаж ему делаю сам, хрящ рассасывается понемножку. Мужик он хороший. Только видит все так, как, например, не вижу я, а может, и вы. Я уверен, и в грязелечебнице он смотрит на женщин, но не видит их, его больше волнует, каково тело на солнце и в тени, при свете электрической лампочки, как меняется кожа под душем, освобождаясь от грязи. Так что не тушуйтесь, относитесь спокойно: он не разглядывает, он просто смотрит.

Плавать Мила так и не научилась. Не потому, что не хотела или не доверяла Валентину Николаевичу как учителю, а потому, что не доверяла себе: вдруг не выдержит сердце, заволнуется,

заухает, когда в воде они окажутся близко-близко друг к другу; руки и ноги станут тряпичными, когда он будет учить ее держаться на волне. И на земле-то рядом с ним она ходит, словно помеченная огнем. Нельзя допустить, чтобы расстояние между ними сократилось до минимума: с огнем шутки плохи, он легко перекидывается с одного объекта на другой, от одного сердца к другому.

Пусть будет только музыка. Она выразительнее всех слов, обворожительнее взглядов, сильнее прикосновений. Он умный, он должен понять, какое чувство Мила вкладывает в пение, если это, конечно, для него что-то значит. А если не значит ничего, все равно пусть будет только музыка.

Однажды в клуб ворвалась, задыхаясь от бега, приемная медсестра:

– Валентин Николаевич! Ваша жена звонила, просила разыскать вас. Будет звонить снова через полчаса, давайте бегом. Междугородка долго ждать не станет.

– Ждите здесь. Я скоро, – приказал он Миле.

Надежда, еще не родившаяся, умерла вместе с его уходом на разговор с женой по междугородному телефону. Почему-то раньше не приходило в голову, что, кроме музыки и обязанностей главврача, у него есть еще и жена.

«Вот и все!» – вынесла Мила приговор доброй солнечной сказке, в которую попала случайно, шагая по тенистой тропинке у озера. Рассчитывать на какой-то счастливый конец – все равно что поймать рыбку в этом тихом озере, заставить ее послужить. Не умеющий довольствоваться малым рискует потерять и то, что есть.

Больно срываться с радуги, на земной дороге не всегда солнечно и тепло, чаще всего гуляют ветры невезенья и невзгод. Холодные, опустошающие душу ветры закаляют сердце, учат сопротивляться. Нужны упорство и мужество, чтобы ходить по земным дорогам.

Валентин Николаевич не заставил себя долго ждать.

– Вот такая петрушка, – сказал, улыбаясь. – Жена сообщила, что проживет у родственников в Москве до конца месяца. Вольному – воля, спасенному – рай.

Он снова сел к роялю, нервными рывками прошелся по клавишам, рождая не к месту бравурные аккорды. Потом руки успокоились, пальцы ласково побежали по клавишам, и шопеновский вальс заструился, светло запечалился в полутемных закоулках сцены.

Мила слушала, сидя поодаль в дряхлом креслице, и любовалась руками, колдующими над клавишами. Так, наверное, сидела и смотрела, обожая, Аврора Дюдеван, знаменитая Жорж Санд, на руки волшебника-музыканта Фридерика Шопена, когда она и он сбежали от шумного света в монастырь на острове Майорка и уединились там. Что больше любила эта экстравагантная писательница: музыку своего возлюбленного или его самого, любящего в последний раз? Неизлечимая болезнь неумолимо приближала его земной конец. Что чувствовала она, зная, что идет по краю пропасти? Умрет Шопен – и она сорвется в нее, разбиваясь о камни безысходности? Или найдет успокоение за листом чистой бумаги и придумает историю любви, похожую на их отношения? Или, перестрадав, снова полюбит кого-то? Мила слышала, что состояние влюбленности необходимо для творческого человека. А может, не только для творческого, а для человека вообще, чтобы испытать радость бытия, прилив сил, острое желание жить во имя любви.

Фридерiku Шопену было всего тридцать три. Жизнь Авроры Дюдеван продолжалась без него еще двадцать семь лет, богатых для нее творчеством и приключениями не только любовного толка.

Жизнь – безжалостная машина, она перемальывает любовь и на горсточке праха способна возделывать, новый благоуханный цветок. Бывает, и чертополох разрастается бурно заглушая другие ростки.

– Завтра, сударыня, в это же время я буду ждать вас у мостков. Кругозерное путешествие, двое в лодке и никакой собаки – вас устраивает этот подарок от меня на прощанье? – шутливым тоном объявил Валентин Николаевич, когда Мила в очередной раз пришла в клуб.

Подарки судьбы редки и неожиданны, тем и дороги.

...Мила сидела на корме лодки в ярком цветастом сарафане.

– Вы ходите на бабочку со сложенными крыльями, – весело сказал Валентин Николаевич, когда они отчалили.

А ей казалось, что соломенная широкополая шляпа с лентой того же ситца, что и сарафан, делали ее похожей на барышню тургеневского времени, но Валентин Николаевич видел по-своему.

– Еще два дня – и улетите, – продолжал он, как показалось Миле, с каким-то грустным значением. Темные зрачки скрывали выражение его серых глаз, внимательных, как у всех врачей.

Лодка покачивалась на водной глади, легко шла вперед, весла поскрипывали в уключинах: «Вот и все! Вот и все-о!» Солнечные лучи не жгли, не палили, а обдавали влажным теплом, купаясь в озере, наполняли его золотисто-голубым светом.

Почти на середине озера Валентин Николаевич опустил весла, встал, перешагнул через скамеечку, разделявшую его и Милу в лодке, и сел, оказавшись лицом к лицу с Милой.

– Я давно хотел спросить, но боялся быть навязчивым, – как чувствует себя ваше колено? По-прежнему болит?

– Не болит, – голос Милы вырвался из горла, которое, словно крапивой, продрали.

Бесцеремонно, без всякого спроса на то стал ощупывать коленную чашечку.

– Контрактура порядочная еще. Массаж и гимнастика – панацея от всех застоев. Если бы вами кто-то занялся сразу, как срослись косточки, последствий бы не было. Но и теперь еще не поздно, если не поленитесь и будете работать над собой.

Массаж ты сможешь делать сама, – Валентин Николаевич перешёл на «ты» и разговаривал с ней, как врач с девочкой-пациенткой. – Я обучу тебя всем приемам. Сейчас и начнем.

Но начать они не успели. Прямо с неба упал на озеро ветерок, взбаламутил его. Волночки бойко заиграли вокруг лодки, раскачивая ее. Валентин Николаевич вынужден был снова сесть за весла. Из-за холма, похожего на рыжего барана, выползла туча и устремилась к солнцу, висевшему над серединой озера. Густая, словно сваленная из комков и черной шерсти, она все ниже и ниже спускалась к земле, впитывая, поглощая солнечные лучи. Но лучи кое-где прорывались сквозь это подобие вывернутой шубы и золотыми пятнами расцвечивали землю, потом снова тонули в черноте. Ветер, вольничавший на озере, сатанел с каждой минутой.

– Быстро идем обратно, – Валентин Николаевич подналег на весла. – Будет шторм. Хоть и не опасно, но удовольствия мало. Держитесь крепче.

Лодка шла быстро, но туча неслась еще быстрее. Ухнул далекий гром. Озеро вздрогнуло и заволновалось еще сильнее. Молния прострочила шубу серебряным зигзагом, и гром разломил небо прямо над лодкой.

– Опустись на дно, – приказал Валентин Николаевич, но Мила не послушалась.

Вода бугрилась, волны вгрызались в лодку, намереваясь перескочить через борт.

Там, откуда выползла туча, полосатой стеной, кое-где сусально позолоченной прорывающимися лучами, надвигался дождь.

– Ливень идет. Держитесь, но не дрейфьте. Скоро берег, – успокаивал Валентин Николаевич.

Берег, каменистый и крутой, был уже близко, зато к нему не причалить: лодку либо перевернут волны, либо она, брошенная водяным валом вверх, притиснется к камням и разобьется. До

мостков идти вдоль берега да еще против ветра – далековато, а первые крупные капли дождя уже стегали по лицу.

И вдруг на пустынном берегу обрисовалась фигура, замахала им, скрепящая руки над головой. Сквозь шум дождя слышалось:

– Валька! Гребни сюда... Лови веревку!

– Толик! – обрадовался Валентин Николаевич. – Вот бестия!

Вот молодец!

Толик изловчился, как оленивод, готовящийся поймать животное за рога, и бросил конец веревки. Валентин Николаевич схватил на лету и привязал к носу лодки. Толик тут же впрягся в нее по примеру бурлака и поволок, шагая по берегу, в безопасное для причала место со скоростью доброй лошадки. Весла превратились в руль.

Вскоре лодка ткнулась носом и села на мель, до берега надо было добраться по крутым перекатам воды. У Милы закружилась голова, Валентин Николаевич подхватил ее на руки, словно девочку, она уцепилась руками за его шею, почувствовала под ладонью напряженно пульсирующую жилку, поняла, что он тревожится за свою ношу, и, благодарная, прильнула к нему еще крепче.

Он поставил ее на твердую землю, потом неожиданно привлек к себе и жарко поцеловал в губы: у нее подкосились ноги.

– За то, что не пищала! – сказал тоном старшего.

Толик топтался около, объясняя, что писал здесь перед грозой этюды, видел лодку, зная, что в шторм не причалить, сбежал за веревкой.

– Потом гляжу: в лодке ты, – сказал, как будто Милы и не было в этой лодке.

За веревку вытянули лодку на берег. Дождь набрал силу, как плетью, хлестал по траве. Сарафан моментально облепил спину, грудь, бедра, и Мила почувствовала себя раздетой. Чуть знобило. Валентин Николаевич одной рукой притянул ее к себе,

она поддалась и прижалась: блаженство! почему ты не дружишь с постоянством?

– Знаешь, я Толику все уши прожужжал: приди послушай, как она поет, а он уперся, осел этакий, нечего, мол, девушку смущать, она и так хорошо смущается, когда грязь принимает. Вишь, какой понятливый, но недогадливый.

– Куда нам с ослиными ушами к роялю, – отшучивался Толик, скрывая в густых усах добрую улыбку. – Этюдник на хребет – да в кусты или на поляшку, сегодня вот к озеру потянуло.

Пока перебрасывались шутками, пока выволакивали лодку, туча-шуба расплзлась по швам, и в дыры хлынуло солнце, яркое, влажно-нежное, игривое. Ключья тучи растащил по небу ветер и утих так же внезапно, как и возник. Лодка дремала под солнышком на берегу, будто и не было никакого шторма; они втроем сидели в ней и обсыхали.

– Понимаешь, Толик, оказывается, я влюбился, – вздохнул Валентин Николаевич.

– Чего не понять? Седина в бороду, как говорится... Допелись.

Милу обидел по-стариковски спокойный шуточный тон Толика. Уж лучше бы он промолчал. Какие могут быть шутки, когда одна гроза утихла, а другая неожиданно разразилась при солнечной погоде. Где найти силы остановить ее, предупредить последствия.

Где-то Мила читала, что обычно отношения между мужчиной и женщиной заканчиваются поцелуем или постелью. Тогда она сочла это абсурдом, теперь сделала вывод, что в любом абсурде есть крупинцы разумности.

Поцелуй не сблизил, а разъединил их тогда, потому что Мила вдруг явственно ощутила присутствие другой женщины между ними. Решила уехать из санатория раньше срока и не прощаясь. Он кого бежала она – от себя или от Валентина Николаевича? От себя хоть на самолете улетай – ничего не

изменится: безумствующий не обретет ума, влюбленный – душевного покоя.

Валентин Николаевич нагнал ее, беглянку, ровно через месяц, когда она с цветами, взволнованная первым днем, проведенным в школе, возвращалась домой. Он шагнул ей навстречу от подъезда и протянул руки, как к ребенку, который обмер от удивления. И она, ничего не говоря, подала ему охапку гладиолусов.

Они поднялись по лестнице в ее однокомнатную квартиру: солнце по-особому заиграло, заполнило комнату от пола до потолка.

А потом три года подряд один или два раза в месяц оно врывалось в ее жилище и царствовало, блаженствовало, пока за Валентином Николаевичем не закрывалась дверь. От подъезда тихонечко трогалась «Нива», ее хозяин махал Миле, застывшей у окна, рукой, и машина набирала скорость: впереди у нее было пять часов пути.

...Внезапно солнце изменило Миле и перестало ошеломительно вкатываться в ее комнату. Потянулись тусклые дни ожидания и тоски. По ночам Валентин Николаевич будил Милу жаркими поцелуями, она открывала глаза – никого, даже луна, и та за тучами. Через полгода и сны перестали терзать. Разум приказал забыть этого человека, так жестко, без объяснений оборвавшего их связь, а чувство не подчинялось.

Миллион раз хотелось снять трубку телефона «07», заказать номер главврача санатория «Солнечное озеро». Что она ему может сказать? О чем спросить? И что он ответит? Страшно будет услышать холодный, равнодушный тон, а может, и такое: «Успокойся, деточка, поболит и пройдет. У молодых это легко получается».

«Все логично», – убеждала себя Мила.

Прошедшей зимой она возвращалась из областного центра с курсов по усовершенствованию преподавания английского языка. В купе оказались два разговорчивых спутника.

Из общей, ни к чему не обязывающей дорожной болтовни она узнала, что они, архитекторы-проектировщики, везут в санаторий «Солнечное озеро» документы по строительству нового лечебного корпуса на согласование с главврачом.

Вот он, неожиданный укол в сердце, – очень больно. Но надо набраться мужества: боль не должна исказить спокойное выражение глаз. Чтобы скрыть ее, нужно улыбнуться непринужденно и даже весело. Сама жизнь учит притворству, а значит – актерству. Личина равнодушия – очень удобная маска, скрывающая бурю в душе.

– Передайте привет Валентину Николаевичу, – улыбнулась Людмила Сергеевна и добавила, – от певицы Милы. – Сразу выругала себя за то, что высунулась из-под маски.

– Мы слышали о нем, – сказали они. – Это он составлял план расширения и перестройки санатория.

– А где он теперь?

– Где все будем, но не в одно время, – ответил который-то из них.

Больше Людмила Сергеевна уже не слышала, что говорили, о чем балагурили ее веселые спутники.

«Где все будем... Где все будем... Где все будем» ... – выстукивали колеса вагона. Назойливо. Невыносимо. Разламывало уши. Било в висках. «Где все будем!.. Где все будем!.. Где все» ...

Летом Людмила Сергеевна выхлопотала себе путевку в «Солнечное озеро». «Зачем?» – спросил ее внутренний голос. «Хочу побыть там, чтобы забыть», – выставила аргумент. «А если он жив и здоров?» – «Скажу: слава Богу! – и уеду».

... Ей отвели комнату с видом на озеро и на клуб, с крыши которого разносился по всей округе стук топора, визг выдергиваемых из крыши гвоздей. Каждый раз, когда сбрасываемые доски ухали, трещали, грохотали, Людмила Сергеевна вздрагивала, морщилась, как будто у нее из груди вырывали сердце.

После обеда стук прекратился. В тихий час, когда кто спал, кто еще кое-чем занимался, она решила пройтись вокруг клуба, пока его совсем не разломали. Шла и плакала. Неожиданно столкнулась с женщиной в рукавицах и белом, изрядно грязном халате. Та выбирала из кучи сброшенных досок те, которые могла поднять, и укладывала на тележку с велосипедными колесами.

– Вот на сараюшку себе набираю, – объяснила извиняющимся тоном. – Времена такие пошли, что придется свинку завести.

– Давайте я вам помогу, – предложила Людмила Сергеевна и сразу принялась за дело.

Вдвоем они быстро нагрузили возок. Женщина впряглась в тележку, Людмила Сергеевна стала подталкивать сзади. Тащили возок по той самой тропинке, на которой Мила впервые встретилась с Валентином Николаевичем. У того самого клена возница остановилась передохнуть. Людмила Сергеевна погладила ствол раскидистого, богатого зеленью дерева, оно будто вздохнуло и сочувственно зашелестело. Так и стояла она, обнявшись с кленом, пока хозяйка тележки вновь не тронулась в путь.

Вскоре подъехали к двухэтажному многоквартирному дому, где жили врачи, завернули за него и сложили доски у огородика, рядом с которым уже ютились сарайчики других хозяев. Потом сделали еще рейс, подобрали все, что годилось для постройки. Елена Константиновна – так звали женщину – пригласила помощницу попить чаю.

Жила он в скромной, хорошо обставленной и ухоженной квартире. В одну из комнат была плотно прикрыта дверь.

– Это кабинет мужа, – пояснила хозяйка.

Пили чай почти молча. О чем разговаривать малознакомым и уставшим женщинам? Только к концу чаепития Людмила Сергеевна обратила внимание на картину, висевшую над диваном: цветущий берег и деревянные мостки, уходящее в

облитое солнцем озеро. Над цветами – шмели. Почудилось, как знойно они гудят.

– Был у мужа приятель – художник, вот подарил ему, – хозяйка перехватила пристальный взгляд гостыи.

– Почему был? Умер?

– Нет, уехал он. Недавно наведывался, забирал одну из картин, подаренных мужу, на выставку. Вернул обратно. Говорит, кто-то хотел купить, да не понравились фигурки на берегу озера. А я бы продала. Почему-то тревожит она меня очень.

- Если можно, покажите.

Елена Константиновна распахнула дверь в кабинет. Над письменным столом чуть накренилась картина – Людмила Сергеевна сразу попала в ту грозу, разыгравшуюся на озере в солнечный счастливый день. Вода свинцово бугрилась у берега, затененного грозной тучей, которую местами пробивали лучи. В полосе солнечного света, как под снопом прожектора, оказались две фигурки: мужчина нес на руках женщину в цветастом сарафане и соломенной шляпке. Лицом он любовно прижался к ее лицу, черт не разглядеть – художник, вероятно, специально сделал так.

У Людмилы Сергеевны хватило сил спросить, сколько стоит картина.

– Я не узнала у Толика, – спокойно ответила Елена Константиновна, – тут-то и вовсе не найдется охотников купить.

– Вас устроят сто тысяч?

– Боже! За что такие деньги? – всплеснула руками хозяйка.

– А муж тоже согласен продать? – спросила Людмила Сергеевна, теперь догадываясь, что она пила чай за тем самым столом, за которым обедал Он, и сидела, ничего не подозревая, но испытывая какое-то неясное смятение, на том самом диване, на котором, вероятно, отдыхал Он, беседуя со своей женой, милой, добросердечной женщиной, не подозревавшей ничего против себя в его поведении. И все же Людмила Сергеевна

спросила, согласен ли муж продать картину, она слабо надеялась на ошибку в своей догадке.

– Он умер три года назад. Играл на рояле в том самом клубе, который сносят. Он любил позабавиться музыкой, – Елена Константиновна помолчала, хрустнула пальцами рук. – Он любил от меня уходить то в музыку, то в идею перестройки санатория. А потом ушел насовсем. Обширный инфаркт. И никого рядом. Я не разделяла его увлечение музыкой. Если бы помогли сразу, как его прихватило... – всхлипнула и закрыла глаза рукой.

Гостья пыталась скрыть свои слезы, но не удалось.

– Вы такая отзывчивая... Спасибо. Хотите, я подарю вам картину? – спросила хозяйка в порыве благодарности за сопричастность.

– Нет, нет! Завтра я принесу деньги, – надо было поскорее уйти от приветливой Елены Константиновны, от ее благодарных глаз. Гостья чувствовала себя воровкой. Наверное, любой вор испытывает смятение в душе, когда глаза в глаза встречается с тем, кого он обкрадывал. Нож совести – самый острый.

Остаток дня Людмила Сергеевна просидела на скамеечке, глядя на развороченную крышу клуба, на окна с выдернутыми рамами, на проемы дверей уже без косяков. Завтра, наверное, начнут ломать пол на сцене, где оборвались звуки рояля и где отлетела в запредельные дали душа человека, которого она все еще любит... Любит его и другая женщина, хранит в доме все так, как было при нем. Дверь в его кабинет держит закрытой: так легче сохранять иллюзию, что Он дома, работает и вот-вот выйдет.

Лицо Елены Константиновны с короткой стрижкой прямых седых волос маячило перед глазами Людмилы Сергеевны на фоне разломанного клуба: или смерть мужа ее состарила, или он был значительно моложе ее. Любовь не подсчитывает, сколько кому лет, приходит и подчиняет себе двоих, случается, делает крутой поворот в сторону, появляется раздвоенность души,

метание сердца. Может быть, сознание вины перед той, от которой он уходил в музыку, уезжал в праздники, оставляя ей сомнения, и довели его до инфаркта.

Боже Милосердный! Даруй ему блаженство! Он ни в чем не виноват. Виновата музыка. Виновата девушка Мила, не сумевшая оборвать музыку в своей душе.

Рано утром Людмила Сергеевна отнесла деньги, забрала картину. Смущенная Елена Константиновна настаивала на половине суммы. Но покупательница и слышать не захотела. Другого разговора не состоялось. Одна, изумленная, суетилась, предлагая чай, другая торопилась на автобус, остаться здесь на весь отведенный в путевке срок было выше ее сил. Уже дома в уголочке картины Людмила Сергеевна разглядела бисерную надпись: «Вале Березовскому от автора. Гроза приходит и уходит, а любовь остается».

Август 1998 г.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Слово! В начале было слово.
Как всплеск страсти и счастливых сил,
И на востоке радужной подковой
Означилась заря, и был

Тот первый день,
Когда вселенский разум –
Начало всех божественных начал –
В земных пределах добрые наказы
Во имя вечной жизни утверждал.

Мир! Мы! – единое значенье.
Но как вписать возлюбленное «Я»
И утвердить себя в мирском реченье,
Начальную гармонию храня.

Адам и Ева за вратами рая.
Я столь веков иду по их следам.
Хотя дорога рядом есть другая,
Ведущая к крылатым небесам.

А я иду над пропастью желаний,
И падаю, и поднимаюсь вновь.
Три спутницы ведут меня по грани –
Надежда, Вера и Любовь.

Мы и Время. Эта связь едина.
Пишем мы истории картину,
Четко вырисовывая лица
И событий пестрых вереницу.
Делаем ошибки: мы же – люди,
Время исправляет, время – судит
За суровость и за мягкотелость,
Что не все сбывалось, как хотелось,
Судит за вчерашний день, в котором
Поблажали лодырю и вору.
Изменили изначальный вектор –
И никто вдруг пробивался в Некто,
Возмнив себя удельным князем.
Разрастался «блат» иль мягко – «связи»,
И взлетали, кто лететь не может,
Выбирая выси подороже.
Пресыщенье порождало леность,
Наркомана с воспаленной веной.
Как теперь картину переделать,
Что важней, решительность иль смелость?

В МИРЕ ОБЫВАТЕЛЯ

Захлопнуты окна, задернуты шторы.
Чужая беда – не моя.
Для благополучья напялены шоры
Всеобщего братства. Тая
За пазухой камень, улыбку – наружу,
Как теплый, особый привет.

Способны поддерживать видимость дружбы,
А если в том выгоды нет,
Представить тебя, как заразу, проказу,
Смять душу, гордыню сломить.
Сердечность в загоне. Владычество фразы.
Жеманное чванство и сыть
Пока еще живы, пока еще в силе
И ходят по свету жестокие были.

ФЛЮГЕР

«Откуда ветер дует? –
Скажи мне, флюгерок, –
На радость, на беду ли
Пронзающий поток
Уже гремит по крыше
И рвется в окна, в дверь?
Где уголок затишья? –
Чтоб только без потерь».
«Ах, право, ты чудачка,
Наивен твой вопрос.
Простейшая задачка –
Держать по ветру нос.
И будет все в ажуре.
К чему наперекор?
Я век прожил вдоль бури
И верток до сих пор».

СВЕТ ПОБЕДЫ

*Оглянись, оглянись назад:
Шестьдесят, всего шестьдесят
Лет прошло с того самого дня,
Когда солнышко из огня
На руках вынес наш солдат,
Прорываясь с боями сквозь ад.
Шестьдесят, всего шестьдесят
Лет оно над моей страной
Расцветает каждой весной.
Мирный день под его лучами
Я с поклоном теперь встречаю.
Мой поклон от России всей,
От спасенных от пуль детей.
Их наследство – светлые дали.
Не за орден, не за медали,
А за солнце в родном окне
Наш солдат прошел по войне.
41-й – жестокий, грозный.
Под чехлами кремлевские звезды,
Пепелища, пожарниц дым.
Шел солдат по войне молодым.
Безымянных могилок взгорья.
Матерей безутешное горе,
Похоронки – как листопад,
Все четыре года подряд.
Но с боями сквозь дикий ад
Прорывался к весне солдат.
45-й – Салют Победы!
Мой поклон вам, отцы и деды.
Были юными вы тогда.
И российской славы звезда –
Слава мужества, доблести вашей –
Это память вечная павшим
И солдатской отваги свет
Через все 60 мирных лет.*

СОДЕРЖАНИЕ:

**1. БЕЛОРЕЦК –
НЕБРОСКИЙ САМОЦВЕТ**

- Белоречье – край старинный... - 4
Взгляни окрестно с птичьего полета... - 5
Во времена Великого Петра... - 5
Струится речка, извиваясь резво... - 6
Восемнадцатый век... На июньской заре... - 6
НА БЕРЕГУ БЕЛОЙ. *Взгляд в прошлое* - 7
РЕЧКА БЕЛАЯ - 27
СОНЕТ РОДНОМУ КРАЮ - 28
ИЮНЬ - 28
ИВАНОВ ДЕНЬ - 28
ХЛЕБОСОЛЬСТВО - 29
МАСЛЕНИЦА - 30
ЭПИЗОД ИЗ ЖИЗНИ ТЕТКИ ТАШИ. *Рассказ* - 34
НАРИСУЙ НЕВОЗВРАТНОЕ - 42
КОЛОКОЛА - 43
РОДНЫЕ - 44
ЖИЗНЬ, КАК ЧАША ВЕСОВ - 46
Россия- родина, мой светлый дом... - 46
УТРО - 47
Земля живая – это пашня... - 47
ДЕРЕВЕНСКАЯ ОСЕНЬ - 48

2. ВОЙНА СВОИ ПИСАЛА ГЛАВЫ

Участникам Великой Отечественной войны

посвящается...

- ВETERАНАМ - 50
КЛАРНЕТ. *Рассказ* - 51
Светлая седмица. Божие Воскресение... - 54
СЛОВО К ЛЮБИМОЙ - 54
ЧАЙ - 56
БАБОЧКА ПОД КОЛПАКОМ... ВОЙНЫ. *Эссе* - 59
СОЛДАТАМ БЕЛОРЕЦКОГО ПОЛКА - 63
ФЕВРАЛЬСКИЙ ВАЛЬС - 64
9 МАЯ - 65

3. НЕ ГРУСТИ, МОЁ ОКНО...

- Тихой странницей, послушницей... - 66
ВОСХОЖДЕНИЕ - 66
ЭХО ГЛАСНОСТИ - 67
Правда, матушка Правда! К тебе испокон... - 68
ЗОЛОТОЕ ПЕРО – НЕ МОЁ - 70
Дай дотронуться до тебя, удача... - 70
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ «ЧЕРНОГО ВОРОНА» - 71
Барыня-сударыня... - 71
СЛЕПОЙ ДОЖДЬ - 72
Отринув дней живую суету... - 73
В твоих словах – тоска... - 73
ДВА ДОЖДЯ - 74
Убери календарь... - 75
В моей душе растет тоска... - 75
Нездешний мой сон... - 76
Не грусти, моё окно... - 77
МОЙ САД - 78
БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ - 79
1990 год - 80
Кобылица – очи-пламя... - 80
Наше время с европейским лоском... - 82
Старый век держит путь на закат - 83
НА РАЗЪЕЗДЕ СО ВРЕМЕНЕМ - 85

4. ЗАЙЧИК СОЛНЕЧНЫЙ НА ЛАДОНИ

- ПОЖЕЛАНИЕ САМОЙ СЕБЕ - 86
ЗА ДОМОМ - 86
Искатель вечной истины, поверь... - 87
ПОЭТУ XIX ВЕКА - 88
На острове Майорка в тиши монастыря... - 88
БАНАЛЬНЫЙ ЭТЮД - 89
Зайчик солнечный на ладони... - 90
Прости меня, мой хороший - 91
ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ НА ОДНУ ТЕМУ
Безумствуя, тебя люблю... - 91
От себя уйти ... Но куда?... - 92
В трагедии есть паузы... - 93
Давай поговорим с тобой. Апрель!.. - 93

На берегу Белой

- Опьянившись запахом малины... - 94
Тихий вечер, как в начале... - 95
СЕМЬ СОНЕТОВ
На карте жизненной моей... - 96
Я – птичка-певичка на майском кусту... - 96
Средь лугов отцветающих след свой ищу... - 97
В душе моей и смута и раздор... - 97
Иду по последнему кругу... - 98
Мой скоролет уже на старте... - 98
СОНЕТ ЛУНЕ - 99

5. БАБЬЕ ЛЕТО

- Бабье лето!.. - 100
Как недолог праздник ... - 100
Бабье лето. Бабье лето... - 101
Бывает! – хоть это нелепо... - 102
На высокой горе... - 103
Январь-молодчик за окошком выюжит... - 103
Милый, я ведь понимаю... - 104
В золотые оделась меха... - 105
Не орлица я по натуре... - 106
Дай мне, облачко, белое крылышко... - 107
У нас тобою разные пути... - 108
Вот опять весенняя распутица... - 108
От первого взгляда... - 109
Сентябрь мой желтый... - 110
Аромат диких роз... - 111
Босиком по росяной траве... - 111
В БОЛЬНИЦЕ - 111
Вновь скудная зима... - 112
ГУСИ-ЛЕБЕДИ - 113
Заневестилась осинка... - 113
Месяц высветил рога... - 114
Не уходи за горизонт рассвета... - 115
Ах, этот март, дразнящий солнцем... - 115
Приговори меня к себе... - 116
Соловей-соловушка щелк да щелк ... - 116
Благословите женщину-весну... - 117
МАЙ - 118
Я хочу тебе присниться... - 118

Нина Зими́на

Умолкли громогласные дрозды... - 119

Из тёмной ночи белых птиц зову... - 119

НА СРЕТЕНЬЕ - 121

Отсмеялось бабье лето... - 122

6. БЕЗ ТЕБЯ Я, КАК БУДТО

ТРАВА БЕЗ ДОЖДЯ...

Стихи, посвященные Николаю Худовекову

Пройти над пропастью – соблазн... - 123

Клавиши белые, клавиши чёрные - 123

Распахнулись за шторами дали... - 124

МЕТЕЛЬ - 124

В толчее серых дней растворяется год - 125

Зааркань мою душу... - 126

ПРАЗДНИК - 127

В КОМАНДИРОВКЕ - 127

Вечер к ночи клонится... - 128

ОТКРОВЕНИЕ ГРЕШНИЦЫ - 128

Как темен и тянуч бальзам... - 129

УБИТАЯ ЛЮБОВЬ - 130

Я хожу в смирительной рубашке... - 130

Тебя мне обещал вчерашний день... - 131

Не приходи в тот опустелый дом... - 132

ВЕСНА КРУГЛЫЙ ГОД - 132

ВАСИЛЬКИ В СЕНТЯБРЕ - 133

РОДНИКИ - 134

СТИХИ О СЛОМЛЕННОЙ ВЕТКЕ - 135

Я тебя потеряла... - 135

7. ВЫВЕЗИ, ЛОШАДКА

Стихи о животных и о нас

ЛЕТНИЙ ЭТЮД - 136

Вновь радуясь неопоздавшей встрече... - 137

ЛЕВ В ЗООПАРКЕ - 137

Волчица – старая матера... - 138

ГЛЯДЯ НА МАНЕЖ - 138

ОРЕЛ В ЗООПАРКЕ - 139

РИСК - 140

Из гнезда птенца до срока ... - 140

На берегу Белой

ДЕРЗОСТЬ - 141

О СОБАКЕ - 142

Котёнку снилось, что он – РЫСЬ... - 143

8. РАССКАЗЫ

ВАМ НЕ ЧУЖД ТОТ БЕЗУМНЫЙ ОХОТНИК - 144

ПОВОРОТ В НИКУДА - 159

«УЖО ВОЗДАСТСЯ...» - 176

ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ - 187

ДАМА С ... КОШКАМИ. *Очерк* - 2198

ДОРОГАЯ ПОКУПКА - 208

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Слово! В начале было слово... - 230

Мы и Время. Эта связь едина... - 231

В МИРЕ ОБЫВАТЕЛЯ – 231

ФЛЮГЕР - 232

СВЕТ ПОБЕДЫ - 233

Нина Зимина



НИНА ЗИМИНА

НА БЕРЕГУ БЕЛОЙ

Литературно-художественное издание

(электронный вариант),

редактор – И. Д. Калугин

БЕЛОРЕЦК

2006

(2017)